

INSPIRIA

УПРАЖНЕНИЯ

ИЭН МАКЬЮЭН



INSPIRIA

Loft. Иэн Макьюэн

Иэн Макьюэн
Упражнения

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Макьюэн И.

Упражнения / И. Макьюэн — «Эксмо», 2022 — (Loft. Иэн Макьюэн)

ISBN 978-5-04-191668-8

«Упражнения» – эмоциональная психологическая драма для неспешного чтения с элементами биографии самого автора, структурно напоминающая рассыпанные кусочки мозаики. В середине XX века, когда мир еще подсчитывает цену Второй мировой, жизнь одиннадцатилетнего Роланда Бейнса переворачивается с ног на голову. Отец-военный увозит его из Ливии и определяет в английскую школу-интернат, где его уязвимость привлекает молодую учительницу фортепиано, Мириам Корнелл. Иррациональная и трагичная первая любовь красной нитью пройдет через всю жизнь мальчика. Много позже, когда жена Роланда исчезнет, оставив его одного с маленьким сыном, он будет искать ответы и в своей юности, и в истории своей семьи. Иэн Макьюэн описывает хронику поворотных событий в истории Европы с XX до XXI века через призму жизни Роланда, характерного представителя своего поколения.

УДК 821.111-31

ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-191668-8

© Макьюэн И., 2022

© Эксмо, 2022

Содержание

Часть первая	9
1	9
2	28
3	48
4	73
Конец ознакомительного фрагмента.	78

Иэн Макьюэн

Упражнения

Ian McEwan

LESSONS

Copyright © Ian McEwan 2022

© Ian McEwan 2022

© Алякринский О., перевод на русский язык, 2024

© Оформление, издание на русском языке. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

* * *



УПРАЖНЕНИЯ

ИЭН МАКЬЮЭН


INSPIRIA
МОСКВА
2024

*Моей сестре Марджи Хопкинс и
моим братьям Джиму Уорту и Дэвиду Шарпу.*

*Сначала мы осязаем. Потом мы опадаем.
Джеймс Джойс. «Поминки по Финнегану»*

Часть первая

1

Это были воспоминания во время бессонницы, не сон. Снова урок игры на фортепьяно – покрытый оранжевой плиткой пол, окно под потолком, новый инструмент в пустой комнате рядом с лазаретом. Ему было одиннадцать лет, и он разучивал первую прелюдию Баха из первого тома «Хорошо темперированного клавира» в упрощенной версии, но он об этом не имел ни малейшего понятия. Он не знал, известная это пьеса или не очень. Он не ведал, ни когда, ни где она была написана. Он даже не понимал, что кто-то когда-то удосужился ее сочинить. Музыка просто существовала в нотах, в виде упражнения, темная, словно сосновый лес зимой, исключительно для него, как его личный лабиринт холодной печали. Она его не отпускала.

Учительница сидела рядом с ним на высокой скамье. Круглолицая, с прямой спиной, надушенная, строгая. Ее красота скрывалась под маской уже знакомых повадок. Она никогда не хмурилась и не улыбалась. Кое-кто из мальчишек считал ее чокнутой, но он в этом сомневался.

Он опять ошибся в том же самом месте, где всегда ошибался, и она придвинулась к нему чуть ближе, чтобы указать на его ошибку. Ее теплый локоть уперся ему в плечо, и ее кисти с наманикюренными ногтями застыли над его коленками. Ему вдруг стало щекотно, и пробежавшая по ногам предательская волна мурашек отвлекла его от музыки.

– Послушай. Это как легкое журчание.

Но когда она заиграла, он не услышал никакого легкого журчания. Его обдала удушливая и оглушающая волна ее духов. Аромат был приторный, округлый, тяжелый, словно речной окатыш, стукнувшийся о его мысли. Три года спустя он узнал, что это за запах: розовая вода.

– Попробуй еще раз. – Она чуть повысила голос, и в нем зазвучали строгие нотки. У нее был музыкальный слух, а у него нет. Он знал, что мысленно она витала где-то далеко и что ее утомляло его безразличие – для нее он был просто учеником пансиона с пальцами, измазанными чернилами. Эти пальцы тупо нажимали на беззвучные клавиши. Он сразу заметил трудное место в нотах, прежде чем добрался до него, это произошло до того, как он ошибся: ошибка неумолимо надвигалась на него, широко, по-матерински, раскрыв ему объятия, готовая подхватить его, это всегда была та же самая ошибка, коварно поджидавшая его и не обещавшая ему нежного поцелуя. И он снова сфальшивил. Его большой палец жил собственной жизнью.

Они вдвоем слушали, как фальшивые ноты растворились в шипящей тишине.

– Извините, – прошептал он себе под нос.

Выразив свое неудовольствие, она коротко выдохнула через ноздри, как будто фыркнула, – он не раз слышал такой звук. Ее пальцы легли ему на ляжку как раз под оком его серых шортиков и впились в кожу. Он знал, что вечером там возникнет синячок. Ее холодные пальцы поползли выше под шорты, туда, где эластичные края трусов обнимали кожу. Он сполз со скамьи и, краснея, застыл перед фортепьяно.

– Сядь! Начни сначала!

Ее строгость вмиг стерла то, что случилось. Все прошло, как не было, и он даже усомнился в точности своего воспоминания об этом. Он так же сомневался всякий раз после подобных обескураживающих ситуаций со взрослыми. Они никогда не говорили, что им от тебя надо. Они скрывали от тебя пределы твоего неведения. То, что случилось, что бы это ни было, произошло по его вине, а неповиновение было чуждо его натуре. Поэтому он послушно сел, поднял голову и всмотрелся в суровые шеренги застывших на странице нот-

ных знаков и опять заиграл, еще более неуверенно, чем раньше. Никакого журчания тут быть не могло – в этом лесу уж точно! И скоро он опять приблизился к тому самому трудному месту. Катастрофа была неминуема, и это ощущение подтвердило сей факт, когда его дурацкий большой палец сдвинулся вниз там, где ему следовало оставаться на месте. Он остановился. В его ушах звонко звучали фальшивые ноты, словно его имя, громко произнесенное вслух. Двумя пальцами она зажала ему подбородок и повернула к себе его лицо. Даже в ее дыхании он уловил парфюмерный аромат.

Не сводя с него взгляда, она взяла с крышки пианино длинную линейку. Он не мог позволить ей ударить себя линейкой, но, сползая со скамьи, не заметил движения ее руки. Он щелкнула его по коленке ребром линейки, не полотном, и это было больно! Он шагнул назад.

– Делай, что я говорю, сядь!

Его коленка горела, но он не стал тереть ушибленное место ладонью, пока нет. Он в последний раз посмотрел на ее красивое лицо, на блузку в обтяжку, с высоким воротником и с перламутровыми пуговицами, на расходящиеся диагонально складки на ткани, туго натянутой ее грудью, и на ее спокойный немигающий взгляд.

Выбежав от нее, он бросился бежать мимо нескончаемой колоннады месяцев и бежал, бежал, пока ему не исполнилось тринадцать и не сгустилась ночь. Много месяцев она возникла в его грезах перед сном. Но на сей раз все было по-другому, ощущения были болезненные, холодные иголки кололи в животе – это, думал он, то самое, что люди называют экстазом. Все было ему в новинку, и хорошее, и плохое, но все это было его, собственное. Никогда в жизни он не испытывал подобного восторга, осознавая, что миновал точку невозврата. Слишком поздно, вернуться назад нельзя, но какая ему разница? Удивленный, он впервые кончил себе в руку. А когда пришел в себя, сел в темноте, встал с кровати и отправился в туалет общежития, в «сортир», чтобы получше рассмотреть там бледную слизь на своей ладони, на детской еще ладони.

И тут его воспоминания сменились сновидениями. Он приблизился сквозь сияющую бездну к краю горного пика, откуда открывался вид на далекий океан, подобный тому, что увидел толстый Кортес в стихотворении, которое весь класс в виде наказания переписывал двадцать пять раз. Море кишело извивающимися существами размером меньше головастика, их были мириады и мириады в водных просторах, тянувшихся к искривленному горизонту. Подойдя еще ближе, он заметил пловца, упрямо плывущего среди мельтешащих существ, распахивая своих собратьев и проникая в гладкие розовые туннели, опережая прочих, которые в изнеможении отплывали прочь и уступали ему дорогу. Наконец он в одиночестве доплыл до сияющего диска, величественного, как солнце, и медленно вращавшегося по часовой стрелке, умиротворенно и со знанием дела, словно равнодушно дожидаясь его. Если это был не он, то, должно быть, кто-то другой. И когда он вошел внутрь сквозь плотные кроваво-красные занавеси, изда- лека послышался вой, а затем перед его глазами ярко вспыхнуло плачущее лицо ребенка.

Теперь он был взрослый мужчина, поэт, как ему хотелось думать, мучимый похмельем, с пятидневной щетиной, стряхнувший остатки недавнего сна и бредущий из своей спальни в детскую, на плач ребенка, которого он поднял из колыбели и прижал к груди.

Потом он оказался внизу с закутанным в одеяльце спящим ребенком на руках. Кресло-качалка и рядом с ним на низком столике купленная им книга о мировых неурядицах, которую он наверняка никогда не прочитает. У него своих неурядиц хватало. Он подошел к французскому окну и стал смотреть на узкий лондонский садик, купающийся в туманном влажном восходе, на одинокую голую яблоню. Слева от нее валялась перевернутая вверх дном зеленая тачка, к которой никто не прикасался с бог знает какого летнего дня. Чуть ближе к окну торчал металлический круглый столик, который он вечно хотел покрасить. Холодная весна маскировала мертвое дерево: в этом году листьев на нем не будет. В разгар начавшейся в июле трехнедельной засухи он мог бы еще его спасти, несмотря на запрет пользоваться водой из шланга

для полива растений¹. Но он был слишком тогда занят, чтобы таскать через весь сад ведра с водой.

У него слипались глаза, и он откинул голову назад, но не засыпая, а снова предаваясь воспоминаниям. Это была прелюдия – как ее надо было сыграть. Прошло много времени с тех пор, как он находился здесь, – ему снова одиннадцать, и он вместе с тридцатью соучениками шагнул к старой хижине Ниссена. Они были еще слишком малы, чтобы понять, какие они несчастные, и было слишком холодно, чтобы разговаривать на ходу. Охватившее всех нежелание куда-то идти придавало их движениям размеренную слаженность, как танцорам кордебалета, когда они молча спустились по поросшему травой крутому склону холма, а потом выстроились шеренгой в тумане и стали покорно ждать начала занятия.

А внутри, в самом центре хижины, стояла раскаленная печка, которую топили углем, и стоило им согреться, как они расшумелись. Здесь это было можно, а больше нигде, потому что их учитель латыни, низкорослый добряк-шотландец, не мог совладать с классом. На доске было написано уверенным учительским почерком *Expectata dies aderat*. А ниже ученическими каракулями выведено: *Долгожданный день настал*. В этой самой хижине, так их учили, в более суровые времена мужчины готовились к морским сражениям и постигали выверенные навыки установки подводных мин. В этом заключалась их подготовка. А сейчас здесь же здоровенный парень, известный на весь пансион задира, вразвалочку вышел к доске, ухмыляясь, нагнул и насмешливо выставил свою задницу, которую неумело отхлестал тапком незлобивый шотландец. Мальчишки подбадривали задиру веселыми криками, потому как никто другой на такое бы не осмелился.

Гвалт усилился, поднялась суматоха, и мальчишки принялись перебрасывать что-то белое по партам, и тут он вспомнил, что сегодня понедельник и такой долгожданный и пугающий день настал – снова. У него на запястье красовались толстенные часы – подарок отца. *Только не потеряй!* Через тридцать две минуты начнется урок музыки. Он попытался не думать об училке-музыкантше, потому что он не подготовился к занятию. Слишком темно и страшно было в том лесу, в котором надо было добраться до места, где его большой палец неуклюже свисал вниз. Если бы он подумал о маме, им бы овладела слабость. Она была далеко и не могла ему помочь, поэтому он и ее тоже вытолкнул из памяти. Никто не мог предотвратить наступление понедельника. Синяк, полученный на прошлой неделе, уже побледнел – и что он такое в сравнении с парфюмерным ароматом учительницы музыки. Синяк же не имеет запаха. Это скорее бесцветная картинка, или место, или ощущение места, или нечто среднее. Но помимо ужаса им овладело еще кое-что – возбуждение, от которого ему тоже надо бы избавиться.

Для Роланда Бейнса, лишённого сна человека в кресле-качалке, пробуждающийся город был не более чем далеким шуршанием, нараставшим с каждой минутой. Начинался утренний час пик. Выброшенные из своих сновидений и кроватей люди носились по улицам, точно ветер. А ему только и оставалось что быть кроваткой для своего сыночка. Он ощущал, как бьется сердце прижавшегося к его груди малыша – оно билось вдвое чаще, чем у него самого. Кровь в их жилах сейчас пульсировала не в лад, но настанет день, когда их пульсы окончательно рассинхронизируются и навсегда окажутся в разных фазах. Никогда они не будут столь же близки. Он будет меньше знать о нем, а потом и еще меньше. Другие будут знать Лоуренса куда лучше, чем он, будут знать, где он был, чем занимался и что говорил, потому что он сблизится со своим лучшим другом, а потом со своей возлюбленной. Иногда он будет плакать в одиночестве. Он станет отдаляться от отца, реже его навещать, все поспешнее его обнимать, он будет поглощен работой, семьей, возможно, политикой, а потом – прощай! А до этого он знал о нем

¹ Запрет на полив из шланга огородов и садов применяется в Великобритании в засушливые сезоны. – *Здесь и далее прим. переводчика.*

все, где именно и с кем он был в тот или иной момент. Он был для своего малыша кроваткой, Богом. Долгое расставание с ребенком, возможно, составляет самую суть родительства, но этим ребенка невозможно зачать.

Много лет прошло с тех пор, как он перестал быть одиннадцатилетним мальчиком с тайной овальной отметиной на внутренней стороне ляжки. В тот вечер, когда везде в пансионе потушили свет, он тщательно рассмотрел его в сортире, спустив пижамные штаны и нагнувшись, чтобы рассмотреть пятно. Там на коже осталась вмятина от ее двух пальцев, ее печать, несмываемый знак подлинности того события. Своего рода фотоснимок. Ему не было больно, когда он провел кончиком пальца по краю овала, где бледная кожа, чуть зеленея по краям, отливала синевой. Он сильно нажал на синяк, на самую середину с почти почерневшей кожей. Не больно.

* * *

В течение нескольких недель после исчезновения его жены, визитов полицейского и опечатывания дома он часто пытался объяснить самому себе навязчивые воспоминания, навалившиеся на него в ту ночь, когда он внезапно остался один. Утомление и стресс отбрасывали его назад, к истокам, к первопричинам случившегося, в бесконечное прошлое. Было бы куда хуже, если бы он знал, что ждет его впереди – многочисленные посещения исхоженного тысячами просителей кабинета, долгое ожидание с сотнями других на приклепанных к полу пластиковых скамейках, когда подойдет его очередь, многочисленные собеседования, на которых он излагал свое дело, покуда маленький Лоуренс Х. Бейнс хныкал и извивался у него на руках. В конце концов ему наконец удалось выторговать себе какое-никакое государственное пособие, довольствие отца-одиночки, вспомоществование вдовца, хотя она не считалась умершей. Когда Лоуренсу исполнился год, для малыша нашлось место в яслях, куда его принимали на то время, что его отец работал – в кол-центре или где-то еще в подобном заведении. Профессор помощи по телефону. Вполне себе разумное занятие. Почему бы не позволить посторонним из всех сил стараться его поддержать материально, покуда он целыми днями вымучивал свои секстины?² В этом не было никакого противоречия. Это было обоюдное соглашение, договор, который он заключил, – и ненавидел.

То, что произошло давным-давно в крохотной комнатухе рядом с лазаретом, было столь же вопиющим, как и его нынешняя ситуация, но он продолжал с ней мириться, сейчас, как и тогда, делая вид, будто все отлично. Но если что и могло его сокрушить, то это лишь то, что шло изнутри: ощущение, что он допустил оплошность. Если бы он был сбитым с толку ребенком, почувствовавшим это тогда, зачем терзаться чувством вины теперь? Обвиняй ее, не себя! Он давно уже выучил наизусть тексты ее открыток и записок. По неписаному правилу, он оставлял ей записки на столе в кухне. А свои она оставляла на его подушке, как плиточки шоколада в гостиничном номере. *Не надо меня искать. Со мной все в порядке. Ты ни в чем не виноват. Я люблю тебя, но все кончено. Я жила неправильной жизнью. Прошу, постарайся простить меня.* На кровати, с ее стороны, лежала ее связка ключей от дома.

Что же это за любовь такая? Родить ребенка – это значит жить неправильной жизнью? Обычно, в сильном подпитии, он вспоминал и ненавидел ее последнюю фразу, которую она так и не смогла закончить. Ей бы следовало написать: *Прошу, постарайся простить меня, как я простила себя.* Жалость к себе беглянки и горечь ясного осознания удела брошенного – того, от кого сбежали. Бремя этого осознания становилось тяжелее с каждым глотком виски. Еще один его невидимый искушитель. Его ненависть к ней росла и ширилась, и каждая очеред-

² Секстина – популярная во времена поэтов-трубадуров изощренная стихотворная форма: шесть строф по шесть строк, где последняя строка каждой строфы является также первой строкой следующей строфы.

ная мысль о ней была повторением предыдущей, вариацией на тему ее эгоистического дезертирства. Посвятив час тщательному криминалистическому анализу ее поведения, он понял, что еще немного – и наступит переломный момент, кульминация вечерней умственной работы. Еще немного, еще чуть-чуть – и он подлил виски в стакан. Мысли замедлили свой бег, а потом вдруг резко остановились как вкопанные – безо всякой видимой причины, – почему, бог его знает, как поезд в том стихотворении, которые весь класс должен был выучить наизусть под страхом наказания. Жаркий день на станции в Глостершире, посреди тишины, в которую так и хочется кашлянуть. А потом его снова осенит ясное осознание, четкое и пронзительное, как внезапный взрыв птичьего пения над головой. Наконец он был пьян и снова позволил себе быть влюбленным в нее, и снова захотел, чтобы она вернулась. Ее недоступная ангельская красота, легкая хрупкость ее тонких рук и голос, с легким акцентом, оставшимся от ее немецкого детства, чуть хрипловатый, словно надтреснутый от крика. Но она никогда не кричала. Она его любила, поэтому винить ему следует себя, и ему было приятно, что в записке она сказала, что он ни в чем не виноват. Он не знал, каким дефектом своего характера можно объяснить ее уход, так что, скорее всего, в этом виноват всецело он и только он.

Пришибленный раскаянием, объявшим его печально-сладким туманом, он задумчиво поднимался по лестнице, заглядывал в детскую проверить младенца, падал на кровать и засыпал, иногда не раздевшись, а потом еще затемно просыпался от духоты, утомленный и встревоженный, сердитый и мучимый жаждой, и в темноте снова начинал размышлять о своих достоинствах и о том, как же предательски с ним обошлись. Зарабатывал он не меньше, чем она, посвящал заботам о Лоуренсе ровно столько же времени и сил, сколько она, в том числе и по ночам, был верным, любящим, никогда не корчил из себя гения-поэта, живущего по своим особым правилам. Так что, можно сказать, он был просто дураком, размазней, потому она его и бросила, возможно, ради настоящего мужчины. Нет, нет, он – хороший человек, и он ее ненавидел. Все *кончено*. Он совершил полный круг – снова. Теперь в лучшем случае он мог подменить сон только тем, что лежал поперек кровати на спине с закрытыми глазами, прислушиваясь к Лоуренсу за стеной, предаваясь воспоминаниям, желаниям, измышлениям и даже придумывая сносные стихотворные строчки, которые у него не было желания записать, – час, другой, третий, покуда за окном не забрезжит рассвет. Скоро он в который раз вспомнит о визите полицейского, и о подозрениях, и о ядовитом облаке, от которого он обезопасил дом, наглухо заклеив все щели, о том, не придется ли все это снова сделать. Однажды ночью эти бессмысленные воспоминания вернули его к тому памяtnому уроку музыки. В комнату, где все звуки отдавались эхом, куда он нехотя вошел и где был вынужден смотреть.

На уроках латыни и французского он узнал, что такое времена глаголов. Эти времена были повсюду – прошедшее, настоящее и будущее, а он раньше не замечал, как язык разграничивал течение времен. Теперь знал. Его учительница музыки использовала настоящее длительное время, чтобы предвещать ближайшее будущее. «Сидишь прямо, подборок поднят. Локти держишь под прямым углом. Пальцы готовы к игре, слегка согнуты, и расслабь запястья. Смотри прямо на нотную страницу».

Он также знал, что такое прямые углы. Времена, углы, как писать по буквам «длительное». Это были элементы реального мира, который родители отправили его изучать за две тысячи миль от дома. Были еще заботы взрослой жизни, миллионы и миллионы забот, которые одна за другой будут становиться его заботами. Когда он примчался с урока латыни, запыхавшись, но не опоздав, учительница музыки принялась допытываться, какие упражнения он делал всю прошлую неделю. Он ей наврал. И тогда она снова села к нему вплотную. Его окутал ее парфюмерный аромат. Синяя отметина у него на ляжке, оставленная ее пальцами на прошлой неделе, уже выпвела, и его воспоминания о случившемся утратили четкость. Но если она и сейчас попытается сделать ему больно, он, не раздумывая, выбежит из комнаты. Он ощутил прилив неведомой силы, услышал ропот восторга, побудивший его заявить ей, будто он

за прошедшую неделю упражнялся на пианино в общей сложности три часа. На самом же деле он почти не упражнялся, играл минуты три, не больше. Раньше он никогда не обманывал женщин. Он лгал отцу, которого боялся, чтобы не навлечь неприятностей, но маме всегда говорил правду.

Учительница слегка откашлялась – это означало, что она ему поверила. А может быть, и не означало.

– Хорошо, – прошептала она. – Можешь идти.

Большой тонкий сборник легких пьес для начинающих был раскрыт на середине. Он впервые заметил на сгибе три скрепки, на которых держались страницы. Их не надо было играть – от этой дурацкой мысли он чуть не улыбнулся. Тугое кольцо скрипичного ключа, басовый ключ, изогнутый, как эмбрион кролика из его учебника по биологии, черные ноты и тонко очерченные белые, которые должны были звучать чуть дольше, эта замусоленная двойная страница с загнутыми углами была его особым наказанием. И она сейчас не казалась ни знакомой, ни даже враждебной.

Он заиграл – но первая же нота оказалась вдвое громче второй. Он опасливо взял третью ноту и четвертую, набирая темп. Сначала он двигал пальцами осторожно, но потом, как ему показалось, сноровистее. То, что он всю неделю не упражнялся, сделало его свободнее. Он подчинился нотной записи, работая левой рукой и правой и не обращая внимания на карандашные пометки-указания на странице. Ему ничего не надо было запоминать – просто нажимать клавиши в правильной последовательности. Трудное место возникло внезапно, и его левый палец забыл, что здесь надо дать слабину, а потом уже было поздно, он уже проскочил западню и оказался на другой стороне клавиатуры, ловко пробежав по ровному полю над лесом, где было светло и просторно, и на какое-то мгновение даже подумал, что смог бы распознать контур мелодии, возникшей, точно удачная шутка, из ровного строя звуков.

Он послушно следовал карандашным наставлениям, двум, а может быть, трем, и каждую секунду от него требовалась полная концентрация внимания. Он позабыл о себе и даже о ней. Время и место растворились. Пианино исчезло вместе с самим его существованием. Когда он добрался до конца пьесы, обеими руками взяв легкий финальный аккорд, у него было ощущение, будто он проснулся среди ночи. Но он не убрал руки, как того требовала пометка на нотной странице. Аккорд звонким эхом пробежал по пустой комнатухе и стих.

Он не шевельнулся, почувствовав, как ее рука легла ему на голову, и даже когда она сильно впилась в нее пальцами и повернула его лицо к себе. Ничего в ее поведении не предвещало того, что произошло дальше.

Она тихо сказала:

– Ты...

Вот тогда-то он и убрал пальцы от клавиатуры.

– Ты маленький...

Неожиданно она нагнулась и приблизила свою голову к нему, так что ее лицо, описав крутую дугу, прикикло к его лицу, и ее губы слились с его губами в долгом легком поцелуе. Он не сопротивлялся, но и не соучаствовал в этом. Это просто произошло, и он позволил этому произойти, и, покуда длился поцелуй, он ничего не чувствовал. Только уже задним числом, когда он в одиночестве оживлял тот момент, переживал и ощущал его заново, он осознавал всю важность этого события. На протяжении этого поцелуя ее губы прижимались к его губам, а он оцепенело ждал, когда это закончится. А потом ее вдруг что-то отвлекло – и все закончилось. За расположенным под потолком окном то ли чья-то тень мелькнула, то ли что-то пролетело. Она отшатнулась от него и поглядела в окно, и он тоже. Они оба увидели или просто заметили это одновременно, краешком глаза. Что это было – чье-то лицо, осуждающий взгляд, вздернутое плечо? Но в небольшом квадрате окна виднелись только рваные облака и бледная

голубизна зимнего неба. Он знал, что снаружи окошко расположено слишком далеко от земли, чтобы даже очень высокий взрослый смог бы в него заглянуть. Скорее всего, это была птица, может быть, голубь из голубятни на старой конюшне. Но учительница и ученик отстранились друг от друга с виноватым видом, и, хотя он тогда мало что понимал, понял, что их теперь объединял общий секрет. Пустое окно грубо возвестило о существовании мира взрослых снаружи. Он также понял, что было бы невежливо поднять руку ко рту и стереть с губ остатки влаги, избавившись от щекочущего ощущения.

Она повернулась к нему и, пристально глядя на него, заговорила ровным, спокойным голосом, подчеркнуто доброжелательно, словно убеждая его, что ей наплевать на тех, кто сует нос не в свои дела, при этом она использовала глаголы в простом будущем времени, которое всегда употребляла, когда хотела придать настоящему разумный смысл. Так и сейчас. Раньше он никогда не слышал, чтобы она так много говорила.

– Роланд, через две недели у нас будет выходной. Он выпадает на пятницу. Я хочу, чтобы ты выслушал меня внимательно. Ты приедешь на велосипеде ко мне домой. В деревню Эруортон. Если ехать со стороны Холбрука, мой дом стоит сразу за пабом по правой стороне, зеленая дверь. Приезжай к обеду, не опаздывай. Ты меня понял?

Он кивнул, ничего не понимая. Странно: зачем ему ехать на велике по всему полуострову по узким улочкам и проселкам в ее деревушку, чтобы там с ней пообедать, когда он мог бы поесть в школе? И не только это заставило его недоумевать. В то же время, несмотря на охватившее его недоумение, а может быть, как раз из-за него, ему хотелось побыть одному, чтобы обдумать и снова ощутить этот поцелуй.

– Я отправлю тебе открытку с напоминанием. С этого дня уроки музыки с тобой будет проводить мистер Клэр. Не я. Я скажу ему, что ты делаешь замечательные успехи. А теперь, молодой человек, мы будем разучивать мажорные и минорные гаммы с двумя диезами.

* * *

Легче спросить куда, чем почему. Куда она отправилась? Прошло четыре часа, прежде чем он сообщил в полицию о записке Алисы и ее исчезновении. Друзья же сочли, что и два часа было слишком долго. *Позвони им сейчас же!* Он отнекивался, он тянул время. Нет, он не надеялся, что она могла вернуться в любую минуту. Он просто не хотел, чтобы посторонние люди читали ее записку или официально подтвердили ее исчезновение. К его удивлению, после его звонка к нему приехали в тот же день. Это был местный констебль, на которого явно надавило начальство. Он записал кое-какие детали, мельком взглянул на записку Алисы и пообещал известить его о результатах. Неделью ничего не происходило, но за это время от нее пришли аж четыре открытки. Криминалист приехал без предупреждения ранним утром в небольшой патрульной машине, которую он в нарушение правил припарковал перед домом. В то утро шел ливень, и он даже не извинился за мокрые следы, оставленные его башмаками на полу в прихожей. Детектив-инспектор Дуглас Браун, чьи щеки складками обрамляли его одутловатое лицо, отличался дружелюбием большого кареглазого пса. Ссутулившись, он уселся за кухонный стол напротив Роланда. Детектив положил массивные руки с поросшими темными волосами пальцами на стол, рядом с его записной книжкой, ее открытками и прощальной запиской, оставленной на подушке. Плотное пальто, которое он не снял, делало его фигуру с широченными плечами еще крупнее. За все время их беседы детектив Браун ни словом не упомянул о малыше. И Роланда слегка обидело такое равнодушие к его ребенку. Несущественно для следствия. Добрые карие глаза полицейского были устремлены только на отца, и Роланду пришлось отвечать на рутинные вопросы. В браке не было никаких проблем – он заявил об этом громче, чем ему бы хотелось. С их общего банковского счета деньги не сняты. Еще не кончились каникулы, поэтому в школе, где она преподавала, никто не знал о ее исчезновении. Она взяла с собой

небольшой черный чемодан. На ней было зеленое пальто. Он отдал детективу несколько ее фотографий, назвал дату ее рождения, имена ее родителей и адрес в Германии. Вероятно, на ней был берет.

Детектива заинтересовала самая последняя открытка – та, которую она послала из Мюнхена. Роланд полагал, что там у нее нет знакомых. В Берлине есть, как и в Ганновере, и в Гамбурге. Родом она была с лютеранского севера. Когда Браун удивленно поднял бровь, Роланд пояснил, что Мюнхен расположен на юге. Возможно, ему следовало пояснить детективу, кто такой Лютер. Но детектив поглядел в свою записную книжку и задал очередной вопрос. Нет, ответил Роланд, раньше она ничего подобного не делала. Нет, у него нет данных о ее заграничном паспорте. Нет, в последнее время она не казалась подавленной. Ее родители жили около Нинбурга, небольшого городка в Северной Германии. Когда он позвонил им на всякий случай, было понятно, что она не у них. Он ничего им не рассказал. Ее мать, которая вечно была чем-то недовольна, просто взорвалась бы, узнав такую новость о своем единственном ребенке. Ушла! Да как она посмела! Мать и дочка постоянно цапались. Но вообще-то и родителям жены, и его собственным родителям следовало бы рассказать. Три открытки от Алисы, из Дувра, Парижа, а затем Страсбурга, пришли одна за другой в первые четыре дня. Четвертая, из Мюнхена, пришла двумя днями позже. И с тех пор – ничего.

Детектив-инспектор Браун снова внимательно перечитал открытки. Все одинаковые. *Все в порядке. Не волнуйся. Поцелуй за меня Ларри. Целую. Алиса.* Одинаковость коротких текстов казалась ему выражением то ли нервного расстройства, то ли враждебности, как и ее бессердечный уход. Что это? Мольба о помощи или форма оскорбления? Написано тонким синим фломастером, без указания дат, почтовые штемпели еле заметные, не считая открытки с видом Дувра, остальные были одинаковые: унылые городские пейзажи с мостами через Сену, Рейн и Изар. Величественные реки. Ее маршрут лежал на восток, подальше от родительского дома. Прошлой ночью, уже засыпая, Роланд представил ее в образе утонувшей Офелии на картине Милле³ – как она, покачиваясь на ласковых чистых волнах Изара, проплывает мимо горного курорта Пупплингер Ау, где голые купальщики лежат на поросших травой берегах, словно вылезшие на сушу тюлени; она лежит на спине, головой вперед, река несет ее вниз по течению, и она, невидимая и безмолвная, проплывает Мюнхен, плывет вдоль Английского сада, туда, где Изар впадает в Дунай, а потом, так же незаметно, через Вену, Будапешт и Белград, минует десяток стран с их кровавой историей, вдоль границ Римской империи, направляясь к белым небесам и бескрайним дельтам рек, впадающих в Черное море, где он с ней однажды занимался любовью у изгороди старой мельницы в румынском заповеднике Летеа, и они увидели близ Исаки стаю задиристых пеликанов. Это было всего-то два года назад. Рыжие цапли, каравайки, серые гуси. До этого он был равнодушен к птицам. В тот вечер перед сном он унесся вместе с ней в место их буйного счастья, к его источнику. Недавно ему приходилось напрягаться, чтобы долгое время оставаться в настоящем времени. Прошлое часто было туннелем от памяти к необузданному фантазированию. Он объяснял это усталостью, похмельем, спутанным сознанием.

Дуглас Браун, склонившись над своей записной книжкой, пытался его утешить: «Когда у моей жены лопнуло терпение, она просто выставила меня за дверь».

Роланд заговорил, но его прервал громкий плач Лоуренса. Требование малыша нельзя было проигнорировать. Роланд встал, отстегнул его от стульчика и взял на руки. Оказавшись в новом положении, лицом к лицу с огромным мужчиной, малыш тотчас умолк. Он свирепо таращился на незнакомца, открыв ротик и пуская слюни. Никто не мог знать, что происходит в мозгу семимесячного младенца. Тени в пустоте, серое зимнее небо, на фоне которого все впечатления – звуки, виды, прикосновения – взрывались, как фейерверк: снопами и стру-

³ Имеется в виду картина «Смерть Офелии» английского художника Джона Эверетта Милле (1829–1896).

ями ярких цветов, тут же забываемыми и тут же сменяемыми другими впечатлениями, тоже сразу же тающими. Или это был глубокий пруд, в который все падало и тонуло, но не исчезало, оставаясь недостижимым, темные очертания в глубокой воде, не утратившие свою неотступную притягательность даже и через восемьдесят лет и всплывавшие на смертном одре в предсмертных исповедях, в последних молениях об утраченной любви.

После ухода Алисы он наблюдал за сынишкой в надежде, что тот проявит признаки грусти или болезни, и находил их во всем. Ребенок же должен тосковать по матери, а как иначе, нежели в воспоминаниях? Иногда Лоуренс долго, очень долго молчал. Он же был в шоке, в оцепенении, и рубцы от нанесенной раны должны были образоваться в нижнем отделе его подсознательного, если такое место или такой процесс вообще существовали, так? Прошлой ночью он слишком громко плакал. Рассерженный тем, что не мог получить нужное ему, даже если он и забыл, что это такое. Не материнскую грудь. По настоянию матери его с рождения кормили из бутылочки. Такова была часть ее плана, думал Роланд в минуты отчаяния.

Детектив-инспектор закончил сверяться со своей записной книжкой.

– Вы же понимаете, что если мы найдем Алису, то не сможем сообщить вам об этом без ее разрешения.

– Но вы сможете сказать мне, жива ли она.

Тот кивнул и задумался.

– Обычно, когда сбежавшая жена оказывается мертвой, убийцей является ее муж.

– Тогда будем надеяться, что она жива.

Браун выпрямил спину и стал слегка покачиваться на стуле, соорудив гримасу удивления. Впервые за время их беседы он улыбнулся. И как будто отнесся к его словам вполне доброжелательно.

– Такое частенько случается. Вот так. Он убивает жену, избавляется от тела, скажем, закапывает его в лесу, в безлюдном месте, присыпав землей и листьями, а нам сообщает о ее пропаже, а потом что?

– Что?

– Потом начинается. Внезапно он осознает, что она была хорошая. Что они любили друг друга. На этой стадии он скучает по ней и начинает верить в выдуманную им историю. Что она сбежала. Или что ее прикончил какой-то психопат. Он рыдает, впадает в депрессию, а потом в ярость. Он не убийца, не лжец, и все было не так, как ему теперь кажется. Ее больше нет, и он переживает по-настоящему. А для всех прочих это кажется вполне реальным. Все выглядит очень честно. Их трудно расколоть, таких...

Лоуренс привалился головкой к отцовскому плечу и задремал. Роланду не хотелось, чтобы детектив ушел сразу после таких слов. Детектив уйдет, а он приберется в кухне. У него будет время навести порядок в спальне и в детской, собрать белье для стирки, вытереть грязные следы с пола в прихожей. Составить список покупок. А сейчас ему страшно хотелось спать.

– Я все еще нахожусь на первой стадии – я скучаю по ней, – пробормотал он.

– Прошло еще мало времени, сэр.

И тут оба мужчины тихо рассмеялись. Словно это было смешно, а их обоих связывала многолетняя дружба. Роланд уже привык к этому одутловатому печальному лицу и к глазам старого пса, выражавшим бесконечную усталость. И он оценил импульсивное стремление детектива неожиданно завести с ним доверительный разговор.

Помолчав, Роланд заметил:

– А почему она вас выгнала?

– Много работал, слишком много пил, каждый день задерживался допоздна. Игнорировал ее, игнорировал детей, у нас три очаровательных мальчика, завел любовницу, о которой ей кто-то стукнул.

– Тогда вы еще легко отделались.

– Я так и подумал сначала. Я чуть было не стал одним из тех, кто живет на две семьи. Знаете, как оно бывает. Старая жена не знает о существовании новой, а новая ревнует к старой, а ты бегаешь между ними как угорелый.

– И теперь вы живете с новой?

Браун шумно выдохнул через ноздри, отведя взгляд и почесав шею. Созданный собственными руками ад – занятная конструкция. Никому не удавалось избежать этой самодеятельности – ни разу в жизни. Кто-то умудряется все время жить в таком аду. Привычка причинять себе несчастья – это то же самое, что продолжение характера, то есть тавтология. Роланд часто об этом думал. Ты строишь пыточную машину и забираешься внутрь. Идеальная конструкция: целый ассортимент боли под заказ, начиная от определенных видов работы или тяги к спиртному и наркотикам, от преступлений вкупе с небывалым умением попадаться с поличным. Фанатичная религиозность – тоже вариант. Или целая политическая система могла бы дать возможность причинять себе страдания – у него был подобный опыт, когда он какое-то время прожил в Восточном Берлине. Брак, эта пыточная машина для двоих, открывал гигантские возможности, со всеми разновидностями *folie à deux*⁴. Любой мог бы привести не один пример подобной ситуации, а уж Роланд выстроил прямо-таки изощренную конструкцию. Его хорошая подруга Дафна однажды вечером, задолго до бегства Алисы, изложила ему эту идею в деталях, когда он признался ей, что уже много месяцев пребывает в печали.

– Ты же блистал на вечерних занятиях, Роланд. По всем предметам! Но, за что бы ты ни брался потом, тебе хотелось быть лучшим в мире. Фортепьяно, теннис, журналистика, а теперь поэзия. Я перечисляю только то, что мне известно. Но стоило тебе понять, что ты отнюдь не лучший в мире, как ты забрасывал это дело и начинал себя ненавидеть. Так же и в твоих отношениях. Ты всегда требуешь слишком многого и не желаешь стоять на месте. А она просто не выдерживает твоего стремления к совершенству и бросает тебя.

Детектив молчал, и Роланд переформулировал свой вопрос:

– Итак, кто же вам нужен – старая жена или новая женщина?

Лоуренс беззвучно обкакался во сне. Но вонь была не противная. Это было одно из его открытий в середине жизни – что ты быстро привыкаешь к запаху дерьма любимого человека. Общее правило.

Браун с серьезным видом обдумывал заданный вопрос. Он рассеянно скользил взглядом по комнате. Он увидел беспорядочно заваленные книгами полки, ворохи журналов, сломанного воздушного змея на комоде. И теперь, облокотившись на стол и опустив голову, уставился на сосновое семечко и одновременно массировал обеими руками свою толстую шею. Наконец он выпрямился.

– Мне вообще-то нужен образец вашего почерка. Все что угодно. Сойдет даже список продуктов.

Роланд почувствовал, как волна тошноты подступила – и отступила.

– Вы думаете, я сам написал эти открытки и записку?

Напрасно он не позавтракал после пьяной ночи. Надо было хотя бы съесть тост с маслом и медом, чтобы нейтрализовать гипогликемический приступ. Но он все утро был занят Лоуренсом. А потом дрожащими руками приготовил себе кофе чуть ли не втрое крепче обычного.

– Или хотя бы записка молочнику.

Браун достал из кармана пальто кожаную коробку на ремешке. Кряхтя и раздраженно вздыхая, он вынул из потрепанного футляра старенький фотоаппарат, для чего ему пришлось неуклюже повернуть серебристый крючок-застежку, слишком маленький для его пухлых пальцев. Это была местами помятая серебристо-черная старенькая «Лейка» с 35-миллиметровой пленкой. Он не сводил глаз с Роланда и, снимая с объектива крышку, криво улыбнулся.

⁴ Совместный психоз у двоих, парное сумасшествие (*фр.*).

Потом Браун встал. С педантичной аккуратностью расположил все четыре открытки и записку в ряд. Сделав снимки, с обеих сторон, и убрав фотоаппарат в карман, он сказал:

– Какая же отличная шутка эти новые высокочувствительные пленки. Можно снимать все что угодно. Вы интересуетесь фотографией?

– Было время, увлекался, – кивнул Роланд и добавил осуждающе: – В детстве.

Браун достал из другого кармана пачку пластиковых конвертиков. Беря открытки за уголок, он одну за другой вложил их в четыре конвертика, которые запечатал, проведя пальцами по краешкам. В пятый конвертик он вложил прощальную записку. *Ты ни в чем не виноват.* Браун сел за стол и сложил из конвертиков аккуратную стопку, выровняв ее большими руками.

– Если не возражаете, я это заберу с собой.

У Роланда сердце билось так сильно, что он даже начал чувствовать себя посвежевшим.

– Я возражаю.

– Отпечатки пальцев. Это очень важно. Я их вам верну.

– Говорят, в полиции вещи часто теряют.

Браун улыбнулся:

– Проведите меня по дому. Нам требуются образцы вашего почерка, какой-то предмет ее одежды, что-то, на чем есть только ее отпечатки пальцев, и что еще... Ах да, образец ее почерка.

– Он же у вас уже есть.

– Что-то давнишнее.

Роланд встал, держа Лоуренса на руках:

– Возможно, я совершил ошибку, позволив вам заниматься моими личными проблемами.

Детектив уже шагнул к лестнице:

– Возможно, так и есть.

Когда они вышли на узкую площадку, Роланд сказал:

– Мне нужно сначала переодеть ребенка.

– Я подожду вас здесь.

Но, вернувшись через пять минут с Лоуренсом на руках, он нашел Брауна в своей спальне – их спальне – около стоявшего у окна небольшого письменного стола, за которым работал Роланд, и массивное туловище детектива заполняло свободное пространство у кровати. Как и прежде, малыш в недоумении уставился на чужого дядю. На столе около пишущей машинки, портативной «Оливетти», лежала его записная книжка и валялись три экземпляра перепечатанных на машинке недавних стихотворений. В спальне царил полумрак, и детектив поднес страницу к свету, падавшему из выходящего на север окна.

– Прошу прощения, это личное. Вы слишком бесцеремонны.

– Хорошее название. – Браун прочитал бесстрастным тоном: – «Гламис зарезал сон». Гламис⁵. Милое женское имя. Валлийское.

Он положил листок на стол и по узкому проходу между кроватью и стеной подошел к Роланду, державшему на руках младенца.

– Слова не мои. И вообще-то это на шотландском.

– Значит, вы плохо спите по ночам?

Роланд пропустил вопрос мимо ушей. Мебель в спальне Алиса покрасила бледно-зеленой краской, добавив голубые контурные узоры: дубовые листья и желуди. Он открыл ящик комода, позволив Брауну туда заглянуть. Ее аккуратно сложенные джемперы лежали в три ряда. Пахло мощным парфюмерным букетом, составленным из ее любимых ароматов, он его сразу узнал. Воспоминание об их первой встрече смешалось с воспоминанием об их послед-

⁵ Слова Макбета из трагедии Шекспира «Макбет» (акт 2, сцена 2), пер. М. Лозинского. Гламис – деревня и замок в Шотландии, родовое гнездо Макбета.

нем разговоре. Для него это было слишком: ее ароматы и внезапное возвращение, и он шагнул назад, точно прячась от слепящего света.

Браун с усилием нагнулся над ящиком и взял верхний джемпер. Черный кашемир. Он чуть отвернулся и засунул джемпер в пластиковый пакет.

– А образец моего почерка?

– Уже имеется. – Браун выпрямился и постучал пальцем по фотоаппарату в оттопыренном кармане его пальто. – Ваша записная книжка была открыта.

– Без спросу!

– Она спала на этой стороне? – Детектив смотрел на изголовье кровати.

Роланд был в ярости и ничего не ответил. На прикроватной тумбочке с ее стороны лежала красная закладка-крокодил с сжатыми зубьями поверх книжки в бумажной обложке, которую Браун поднял, взявшись двумя пальцами за края. «Пнин» Набокова. Он осторожно раскрыл книжку и заглянул на первую страницу.

– Это ее пометки?

– Да.

– Вы читали книгу?

Роланд кивнул.

– Это издание?

– Нет.

– Хорошо. Мы могли бы привлечь судмедэкспертов, но на данной стадии расследования можно не беспокоиться.

Роланд постарался взять себя в руки и заговорил нарочито спокойным тоном:

– Я считал, что эпоха снятия отпечатков пальцев заканчивается. Будущее – за генетическим анализом.

– Новомодная чепуха. Ничего подобного не будет при моей жизни. И при вашей.

– Неужели?

– И ни при чьей жизни. – Детектив двинулся в сторону лестничной площадки. – Вот что вам надо понять. Ген – это ничто. Это идея. Идея получения информации. А отпечаток пальца – это важно, это улика.

Двое мужчин и ребенок спустились вниз по лестнице. Сойдя с нижней ступеньки, Браун повернулся к хозяину. Прозрачный пакет с джемпером Алисы был зажат у него под мышкой.

– Мы же исследуем место преступления не ради абстрактных идей. Мы ищем улики, материальные признаки реальных событий.

Лоуренс снова прервал их беседу. Высунув ручонку, он издал громогласный протяжный крик, начавшийся с взрывной согласной – то ли «б», то ли «п», и стал бессмысленно тыкать влажным пальчиком в стену. Младенческий крик, по мысли Роланда, был упражнением в умении говорить всю оставшуюся жизнь. Язык должен привыкнуть быть в форме для всех лексических вариаций, что ему потом предстояло произносить.

Браун пересек прихожую. Роланд, следуя за ним, со смехом сказал:

– Надеюсь, вы не имеете в виду, что мой дом – это место преступления.

Детектив распахнул входную дверь, вышел и обернулся. За его спиной виднелся косо припаркованный у тротуара маленький «Моррис Майнор» игрушечно-голубого цвета. Низкое утреннее солнце бросало отблески на печальные складки его одутловатого лица. Его назидания звучали не слишком убедительно:

– Был у меня сержант, который любил повторять: где люди, там и место преступления.

– Это же полнейшая чушь.

Но Браун уже шагнул прочь и, похоже, не расслышал его слов. Папа и малютка-сын смотрели, как полицейский прошел по поросшей травой короткой тропинке сада к сломанным воротам, которые никогда не закрывались. Выбравшись на мостовую, он остановился и, чуть

ссутулившись, принялся шарить по карманам пальто в поисках ключей от машины. Наконец он их нашел и открыл дверцу. Потом, одним движением, ловко повернув массивное туловище, спиной ввалился в машину и захлопнул дверцу.

* * *

Итак, для Роланда новый день, зябкий день весны 1986 года, мог наконец начаться, и на него сразу же навалилось все. Хлопоты, бессмысленность нового события – неуютного, несмыслимого ощущения быть подозреваемым. Как будто его и впрямь можно в чем-то подозревать. Это было сродни чувству вины. Клеймо женоубийцы пристало к нему, как засохшие остатки завтрака, прилипшие к щекам Лоуренса. Бедняжка. Они смотрели, как машинка детектива влилась в поток транспорта. У садовых ворот торчал тонкий саженец, привязанный к бамбуковому столбику. Белая акация. Продавец в садовом центре пообещал ему, что даже выхлопные газы не помешают ей расцвести. Роланду, стоявшему на пороге дома, все окружающее казалось случайно навязанной обузой, как будто его выхватили из позабытого дома и забросили в данные обстоятельства, в жизнь, от которой кто-то отказался, где не было ничего, выбранного им самим, по своему разумению. Этот дом, который ему никогда не нравился и который он не мог позволить себе купить. Ребенок у него на руках, которого он не ожидал и не хотел любить. И этот хаотичный поток машин, текущий мимо ворот, которые теперь стали его воротами и которые он никогда не починит. И чахлая акация, которую у него никогда даже в мыслях не было посадить, и это радостное увлечение растениями, которое он больше не испытывал. По опыту он знал, что единственный способ выйти из диссоциативного состояния – это выполнить простейшее задание. Он приберется в кухне и умоет сынишке лицо – причем с нежностью.

Но когда он захлопнул входную дверь, его осенила новая мысль. И не давала ему покоя. Держа Лоуренса на руках, он поднялся по лестнице к себе в спальню, подошел к письменному столу и стал листать свою записную книжку. Он уже не помнил, какая была последняя запись. Девять стихотворений, напечатанных в литературных журналах за пятнадцать месяцев, – эта книжка была зримым символом серьезности его литературных упражнений. Небольшого формата, с бледно разлинованными страницами, с синим переплетом и зеленым корешком. Он не хотел превращать записную книжку в обычный ежедневник, с фиксацией мелких деталей развития ребенка или перемен в своем настроении или с вымученными размышлениями об общественно значимых событиях. Слишком банально. Его интересовали вещи куда более возвышенные. Двигаться замысловатой траекторией изысканной идеи, которая могла бы удачно изогнуться и вывести к горячей точке, внезапному источнику яркого света, который осветил бы первую строчку, таившую секретный ключ к последующим строчкам. Так уже бывало раньше, но просто хотеть этого, желать, чтобы это произошло снова, не гарантировало ничего. Необходимая иллюзия состояла в осознании того, что лучшее из написанных им стихотворений ему уже доступно. Но, сохраняя трезвость мысли, делу не поможешь. Тут ничем нельзя было помочь. Нужно просто сидеть и ждать. Иногда он давал волю мыслям и испещрял страницы своими жалкими раздумьями или цитатами из других писателей. Вот уж чего он меньше всего хотел. Он переписал абзац из Монтеня о счастье. Но счастье его не интересовало. А до этого – фрагмент письма Элизабет Бишоп⁶. Это могло бы создавать иллюзию, что он чем-то занят, но себя же не обманешь. Шеймас Хини как-то сказал, что долг писателя – подходить к письменному столу. Когда малыш спал днем, Роланд подходил, садился и ждал, а нередко, положив голову на стол, засыпал.

Его записная книжка лежала раскрытой, как Браун ее и оставил, справа от пишущей машинки. Детективу даже не пришлось ее сдвигать, чтобы сфотографировать. На стол падал

⁶ Элизабет Бишоп (1911–1979) – американская поэтесса, прозаик.

ровный холодный свет из сдвижного окна. Вверху на левой странице виднелись строчки: «Преображение в подростковом возрасте, жизненная стезя изменила курс. Память, ущерб, время». Естественно, наметки стихотворения. Когда он взял записную книжку со стола, малыш потянулся к ней ручонкой. Роланд отвел книжку в сторону, чем вызвал протестующий визг ребенка. Позади пишущей машинки давно лежал, собирая пыль, мячик для сквоша. В сквош он не играл, но ежедневно упражнялся с резиновым мячиком, сжимая его в пальцах, чтобы тренировать поврежденное запястье. Он отправился с малышом в ванную, чтобы помыть ребенку лицо и смыть с мячика пыль. Пусть Лоуренс потренирует беззубые десны, впиваясь ими в мячик. Получилось. Они оба лежали на спине на кровати рядом друг с дружкой. Крошечный мальчуган, вдвое короче папы, сжимал мячик челюстями и жевал. Роланд не вспомнил этот абзац в записной книжке, потому что прочитал фразы глазами полицейского. От этого лучше они не стали.

«Когда я положил этому конец, она не противилась. Она понимала, что натворила. Когда убийство витало над всем миром. Она лежала погребенная, в бессонную ночь вырвалась из тьмы. Она сидит на двухместной скамеечке перед фортепьяно. Аромат духов, блузка, красный лак на ногтях. Как всегда, четко видна, словно могильная, земля в ее волосах. А, эти ее гаммы! Жуткий призрак. Она не уйдет. Не в то время, когда мне нужен покой. Пусть остается мертвой».

Он дважды перечитал строки. Было нечто извращенное в том, чтобы возлагать вину на двух женщин, но он это сделал: на мисс Мириам Корнелл, учительницу музыки, которая вмешивалась в его личную жизнь необычным способом, преодолевая время и пространство; и на Алису Бейнс, урожденную Эберхардт, его любимую жену, державшую его мертвой хваткой, где бы она сейчас ни находилась. Пока она не подтвердит свое существование, Дуглас Браун от него не отстанет. И в той степени, в какой он сам склонил полицейского к сделанным им умозаключениям, Роланд винил также и самого себя. Перечитав запись во второй раз, он пришел к выводу, что почерк явно отличается от того, каким были написаны открытки и прощальная записка. Все не так уж плохо. Но все очень плохо.

Он повернулся на бок и взглянул на сынишку. И сделал наконец открытие, которое давно следовало бы сделать: в общем и целом, Лоуренс был для него скорее отдушиной, чем обузой. Мячик для сквоша уже утратил для малыша весь шарм и выкатился из его ладошек. Мячик, блестящий от детской слюны, замер на одеяле. А ребенок лежал, уставившись вверх. Серо-голубые глаза смотрели сосредоточенно. Средневековые художники изображали зрение в виде лучей света, бьющих из головы. Роланд проследил за лучами младенческого взгляда, устремленного в рябые потолочные плитки, которые вроде бы могли сдерживать пламя при пожаре, и в дыру с рваными краями, откуда когда-то свисала люстра прежнего хозяина дома. Обнадеживающий знак в спальне с низким потолком, площадью десять на двенадцать футов. И потом он увидел его, прямо над своей головой, длинноногого паука, спешившего по потолку в дальний угол комнаты. Какая мощная целеустремленность в такой крошечной головке! Паук остановился, чуть покачиваясь на тонких, точно волосинки, ногах – словно в такт неслышной мелодии. Существует ли некая верховная сила, способная объяснить, что он делает? Вокруг – ни хищников, которым надо дать отпор, ни других пауков, которых надо завлечь или запугать, ни иных преград. И все равно он выжидал, пританцовывая на месте. Когда паук отправился дальше по своим делам, внимание Лоуренса уже переключилось на что-то иное. Он повернул крупную головку, увидел папу – и тотчас принялся размахивать ручками и спазматически дрыгать ножками, выпрямляя и сгибая их. Но это он делал не просто так. Он словно обращался к отцу, пытаясь ему что-то сообщить или даже спросить. Не спуская с Роланда глаз, он дернулся еще раз, а потом замер в ожидании чего-то, глядя на него с вопросительной полуулыбкой. И что бы это значило? Он хотел, чтобы его похвалили за эти физические экзерсисы. То есть семимесячный младенец всем своим видом показывал, что ему необходим такой же,

как и он, сознательный партнер, и как ему нравилось производить впечатление, и как ему хотелось, и какое это было для него удовольствие, вызывать восхищение у других. Невозможно? Но вот вам зримое тому доказательство! Хотя и непросто было до конца понять его эмоции.

Роланд закрыл глаза и ощутил легкое головокружение. О, сейчас бы поспать, хорошо бы и ребенок тоже заснул, и они бы поспали вдвоем, лежа рядом на кровати, хотя бы пять минут. Но закрытые папины глаза дали понять Лоуренсу, что огромное мироздание съезживается в замерзшую тьму, оставляя его последним живым существом, продрогшим и выброшенным на безлюдный берег. Он глубоко вздохнул и заныл, издав протяжный жалобный вопль одиночества и отчаяния. Бессловесные беспомощные люди обретали необычайную силу в яростном извержении экстремальных эмоций. Грубая форма тирании. Реальных тиранов мира часто сравнивали с младенцами. Были ли радости и горести Лоуренса разделены тончайшей кисеей? Ничего подобного. Они были накрепко сплетены друг с другом. К тому моменту, как Роланд встал и оказался на верхней ступеньке лестницы, к нему вернулось приятное успокоение. Лоуренс прильнул к мочке папиного уха. И покуда они спускались вниз, детский носик неловко тыкался в извилины ушной раковины.

Еще не было 10 утра. День обещал быть длинным. Он уже длился довольно долго. Вид мокрых следов от грязных ботинок, тянувшихся по выложенному древней плиткой полу прихожей, заставил его снова вспомнить о Брауне. Да, это никуда не годится. Но хотя бы можно с этого и начать. Вытереть. Одной рукой он подхватил швабру, наполнил водой ведро и широкими взмахами смыл следы грязи. Вот как обычно устраняются следы любого беспорядка: растираются тонким слоем, который со стороны и не видно. Его усталость все превращала в метафоры. Домашние хлопоты заставляли его игнорировать и отвергать все требования и соблазны мирской жизни за стенами дома. Две недели назад все было точно так же. Международные дела доминировали в его прошлом. Американские самолеты, совершавшие авианалеты на Триполи в Ливии, разрушили начальную школу его детства, но не смогли убить полковника Каддафи. А теперь отчеты о выступлении Рейгана, или Тэтчер, или ее министров оставляли Роланда равнодушным и заставляли чувствовать себя виноватым за то, что он не обращает на них никакого внимания. Но сейчас надо было просто опускать очи долу и сохранять верность задачам, которые он на себя возложил. Была своя ценность в том, чтобы думать как можно меньше. Сосредоточиться на утомлении и основных житейских заботах: ребенке, доме, покупках. Четыре дня он не открывал газет. Радиоприемник на кухне, который все эти дни бормотал вполголоса, иногда тихим мужским голосом сообщая что-то важное, пытаясь снова его завлечь к себе. А он старательно его игнорировал, шагая мимо с ведром и шваброй в руке. *А вот это специально для тебя, шептал голос в приемнике. Бунты в семнадцати тюрьмах страны. Когда ты интересовался мировыми событиями, тебя привлекали как раз такие новости... Взрыв... Всплыли новые подробности, когда шведские власти сообщили о радиоактивном...* Он пробежал мимо. Шевелись, не засыпай, не закрывай глаза!

Вытерев пол в прихожей, он переместился в кухню, а Лоуренс все это время сидел в своем стульчике, поедая и мусоля очищенный банан. Когда раковина и кухонный стол были, можно сказать, вымыты, он отнес Лоуренса наверх. В обеих спальнях он навел не более чем косметический порядок, но хотя бы там удалось предотвратить наступление хаоса. Мир, по крайней мере, снова стал казаться ему чуть более разумным. В конце концов, на лестничной площадке лежала куча вещей для стирки. Алиса была та еще аккуратистка, ничуть не лучше него. По правде сказать – но нет, сегодня он о ней не думал!

Позднее Лоуренс осушил бутылочку молока и заснул, а Роланд отправился к себе в спальню. Но спать не стал, а стал мысленно исправлять недавнее стихотворение о бессоннице. «Гламис». Написанное в сдержанной манере – в сдержанной, потому что он мало что

смыслил в этой теме, – оно было посвящено Неприятностям⁷. В 1984 году он провел несколько дней в Белфасте и Дерри со своим лондонским приятелем-ирландцем Саймоном, владельцем недавно озолотившей его сети спортзалов и идеалистом по жизни. Тогда у Саймона возникла идея открыть сеть детских теннисных школ, куда принимались бы все вне зависимости от вероисповедания. И Роланду было предложено стать главным тренером. Дело оставалось за малым – надо было найти помещения и заручиться финансовой поддержкой местных энтузиастов. Какими же они были наивными и глупыми. За ними установили слежку – или им так казалось. В одном пабе парень в инвалидном кресле – ему, решили они, прострелили коленную чашечку – посоветовал им «быть осторожнее». Ольстерский говор Саймона с сильным британским акцентом повсеместно вызывал явное равнодушие. Никого не интересовал детский теннис. Британский патруль, который не поверил им на слово, продержал их шесть томительных часов на блокпосте. Всю ту неделю Роланд почти не спал. Все время лил дождь, было холодно, еда отвратная, постельное белье в отеле влажное, все вокруг курили одну за одной и имели жуткий вид. Он жил словно в кошмарном сне, постоянно уверяя себя, что его состояние страха не имело ничего общего с паранойей. Но это была паранойя. Хотя никто их не трогал и даже не угрожал.

Он опасался, что его стихотворение явно перекликалось с «Наказанием» Хини⁸. Как образ женщины, долгое время пробывшей в болоте, заставлял вспомнить о ее ирландских «сестрах-предательницах», жертвах, вымазанных смолой за то, что спутались с врагом на глазах поэта, который счел их одновременно и разгневанными вершителями наказания, и соучастницами преступления.

Но что посторонний, англичанин, всего-то на неделю мимоходом соприкоснувшийся с местной обыденностью, мог бы сказать о Неприятностях? Ему в голову пришла свежая идея – сместить смысл стихотворения к своему неведению и бессоннице. Рассказать о том, каким потерянным и испуганным он тогда себя чувствовал. Но теперь возникла новая проблема. Машинописный вариант стихотворения побывал в руках Брауна. Роланд прочитал заголовок и мысленно услышал монотонный голос детектива и тут же ощутил отвращение к цитате «Гламис зарезал сон». Слабая, напыщенная потуга бежать вдогонку за Шекспиром. Минут через двадцать он отложил стихотворение в сторону и стал обдумывать последнюю идею. Открыл записную книжку. Пианино. Любовь, воспоминания, обида. Но и детектив никуда не делся. Его присутствие нарушило его личное пространство. Невинный пакт между мыслью и страницей, идеей и рукой был разорван. Или осквернен. Вторгшийся чужак, его враждебное присутствие заставило его разочароваться в собственных словах. Он был вынужден прочитать свое стихотворение чужими глазами и оспаривать возможное неверное истолкование своих строк. Смущение – это смерть интимного дневника.

Он оттолкнул записную книжку и встал, сразу вспомнив нынешние обстоятельства и их бремя. А бремя их было столь тяжким, что он снова сел. Обдумай все тщательно. Она ушла всего-то неделю назад. Хватит проявлять слабость! Слишком это дорогое удовольствие в момент, когда ему следует проявлять твердость. Какой-то авторитетный поэт сказал, что сочинить хорошее стихотворение – это все равно что заняться физическими упражнениями. Ему было тридцать семь лет, он обладал силой, упорством, и все, что он написал, принадлежало ему и никому больше. Поэта не может смутить какой-то там полицейский. Уперев локти в стол, уронив подбородок в ладони, он увещевал себя в таком духе, пока не проснулся Лоуренс и не начал орать. Рабочий день завершился.

⁷ Имеются в виду так называемые ирландские неприятности, периоды обострения религиозно-политических конфликтов в Ирландии, которые, в частности, интересовали ирландского поэта Шеймаса Хини (1939–2013), лауреата Нобелевской премии по литературе за 1995 г.

⁸ В «Наказании» речь идет о древнем обычае наказывать женщин за прелюбодеяние повешением и последующим утоплением в болоте.

Во второй половине дня, когда он одевал младенца для похода по магазинам, птичье чириканье, доносившееся с заднего водостока крыши, навело его на мысль. Спустившись вниз с Лоуренсом под мышкой, он сверился с настольным календарем, лежавшим на письменном столе в прихожей рядом с телефоном, на стопке телефонных справочников. Он и не заметил, что уже наступил май. Поскольку сегодня суббота, значит, 3-е число. Все утро пыльный домик прогревался. Он распахнул окно на первом этаже. Пускай грабители залезают в дом, пока они ходят по магазинам. Им тут нечего взять. Он выглянул из окна. Прилепившись к кирпичной стене, на солнышке грелась бабочка – павлиний глаз. На небе, которое он несколько дней не замечал, не было ни облачка, в воздухе витал запах скошенной на соседнем участке травы. Лоуренсу курточка не понадобится.

Роланд отнюдь не проявил беспечность, покинув дом с младенцем в прогулочной коляске. Просто его новая жизнь с ограниченными возможностями казалась ему менее важной. Были другие жизни и другие, более важные заботы. Теперь он старался жить с легкомысленным безразличием: если уж ты потерял жену, то либо научись обходиться без нее, либо найди новую, либо сиди и жди, когда она вернется, – выбор у него был небольшой. Мудрость жизни заключалась в том, чтобы не слишком убиваться. Они с Лоуренсом справятся. Завтра они отправятся на ужин к друзьям, жившим в десяти минутах ходу. Малыш уснет на софе, обложенный мягкими подушками. Дафна была его давнишней приятельницей и конфиденткой. Они с Питером прекрасно готовили. У них было трое детей, один из них ровесник Лоуренсу. Там будут и другие их общие друзья. Им будет любопытно узнать последние новости. О визите Дугласа Брауна, о его манере вести допрос, о неглубокой могиле в лесу, о его возмутительном копании в личных вещах, о маленьком фотоаппарате в его кармане и о том, что сказал его сержант, – да, все эти события Роланд перескажет в духе комедии нравов. Браун станет Догберри. Он улыбался про себя, шагая к магазинам и воображая, как позабавятся его друзья. Они оценят его невозмутимое спокойствие. Есть женщины, в чьих глазах мужчина, в одиночку заботящийся о своем младенце, представляется привлекательной, даже героической фигурой. А в глазах мужчин он будет выглядеть обманутым простофилей. Но он немного даже гордился собой – тем, что в доме прямо сейчас крутился барабан стиральной машины, тем, что он надраил пол в прихожей, тем, что его накормленный сынишка удовлетворенно восседал в коляске. Он купит цветов из цинкового ведра, мимо которого он проходил пару дней назад. Большой букет красных тюльпанов для кухонного стола. Впереди показался вход в магазин и газетный, а не цветочный киоск. Он войдет и купит газету. Он уже был готов заключить в объятия огромный суетный мир. И если Лоуренс предоставит ему такую возможность, он почитает газету в парке.

Прежде чем он купил газету, ему в глаза бросился заголовок: «Радиоактивное облако приближается к Британии». Он уже слышал новости про взрыв, о чем все утро бормотал мужской голос из радиоприемника. Дожидаясь, пока ему заворачивали цветы, он размышлял о том, как вообще можно что-то знать, кроме как в самых общих чертах, и в то же время отрицать, опровергать, избегать эту информацию, а потом испытать роскошь шокирующего момента откровения.

Он развернул коляску, выкатил ее из магазина и отправился по своим делам. Происходящее на улице казалось ему замедленной съемкой чего-то зловещего. Он уже думал о том, что неплохо было бы зарыться под землю, но мир все равно нашел бы его и в подземном укрытии. Не его. Лоуренса. Хищная птица индустриального века, безжалостный орлан, состоящий на службе у машины судьбы, прилетел бы и выхватил ребенка из гнезда. Идиот-папаша, славный тем, что помыл посуду после завтрака, да сменил белье в детской колыбельке, да купил тюльпаны для кухни, в этот момент смотрел в другую сторону и все проворонил. Хуже того, он нарочно отвернулся. Он решил, что беда его не затронет, потому что всегда так думал. Он вообразил, будто его любовь – лучшая защита для его малыша. Но когда в общественном месте случается происшествие, все оказываются в одинаковом положении. Дети, вы нам

нужны! У Роланда не было никаких особых привилегий. Он был там вместе с остальными, и ему пришлось бы со всеми слушать официальные объявления – почти не заслуживающие доверия заявления политических лидеров, которые по традиции обращались к простым гражданам. Но то, что годится для политика, имеющего некое представление о массах, необязательно годится для отдельного человека, особенно для него. Хотя он и был массой. К нему отнесутся как к тому самому идиоту, каким он всегда и был.

Он остановился у почтового ящика. Его выцветший красный герб с королевской символикой – и профилем Георга V – уже был памятным знаком другой эпохи, смехотворной веры в непрерывность истории, поддерживаемую благодаря почтовым отправлениям. Роланд сунул цветы в пакет, свисавший с ручки коляски, и развернул газету, чтобы снова прочитать заголовки передовицы. Он был выдержан в невозмутимом научно-фантастическом духе – ироничный и апокалиптический. Ну а как еще.

Облако всегда знало, куда направиться. Чтобы добраться до нас от Советской Украины, ему бы пришлось проделать долгий путь, миновав несколько малозначительных стран. Это было происшествие местного масштаба. Его пугало, как много он уже знал об этом происшествии. На атомной электростанции в далеком местечке Чернобыль произошла авария: взрыв и пожар. Старые представления о нормальной жизни, с тюремными бунтами, все еще заполняли газетные страницы. Скосив взгляд под газету, Роланд мог частично видеть почти лысую, покрытую пушком головку Лоуренса, которой тот крутил, провожая взглядом каждого проходящего мимо пешехода. Газетный заголовок был менее тревожным по сравнению с подзаголовком, набранным чуть более мелким шрифтом: *«Представители органов здравоохранения уверяют, что никакой опасности для граждан нет»*. Именно! Дамба выдержит удар. Инфекция не распространится. Президент не болен. И в демократиях, и в диктатурах спокойствие населения превыше всего.

Цинизм служил ему надежной защитой, подталкивая его предпринимать шаги, которые могли доказать, что он не является безликим членом массы. Его ребенок выживет. Он был хорошо информирован о многих вещах и знал, что делать. Ближайшая аптека находилась в ста метрах отсюда. Заняв очередь в отдел рецептурных препаратов, он прождал минут десять. Лоуренс все никак не мог уgomониться в коляске, извивался, выпячивал животик, норовя высвободиться из тесных ремней безопасности. Как было известно любому хорошо информированному человеку, раствор йодида калия защищал уязвимую щитовидную железу от воздействия радиации. Маленькие дети принадлежали к группе риска. Фармацевт, добродушная дама, улыбнулась и стоически передернула плечами, как она, должно быть, делала, попав под сильный ливень. Все распродано. Еще вчера.

– Все просто с ума посходили, мой милый!

В двух других аптеках в том же районе ему сказали то же самое, хотя и не в столь же дружелюбном тоне. А старик в белом халате был очень раздражен: *«Вы что, не видели объявление на двери?»* В лавке на той же улице Роланд купил шесть полторалитровых бутылок воды и крепкий пакет для них. Водохранилища могут быть заражены, поэтому не следует пить воду из-под крана. В хозяйственном он купил несколько пачек укрывной пленки и несколько рулончиков клейкой ленты.

В парке, когда Лоуренс заснул, сжав в кулачке расплюснутый кусок второго банана, Роланд сел на скамейку, чтобы внимательно почитать газетные статьи, и из обрывочных сведений составил общую картину случившегося. Невидимое облако находилось в шестидесяти милях отсюда. Британские студенты, прибывавшие в аэропорт Хитроу из Минска, получили дозу радиации в пятьдесят раз больше нормы. А Минск находился в двухстах милях от места аварии. Польское правительство рекомендовало не пить молока и не употреблять молочных продуктов. Утечка радиации была впервые обнаружена шведами – в семистах милях от эпицентра. Советские власти не обнародовали никаких рекомендаций своим гражданам относи-

тельно зараженной еды и питья. Такое здесь было невозможно. Но подобное уже случалось. Утечка радиации в «Уиндскейле»⁹ держалась в секрете. Третьему секретарю русского посольства в Стокгольме было поручено проконсультироваться с властями Швеции, как справиться с горением графита. Шведы не знали и перенаправили русских к британцам. Более ничего не стало достоянием общественности. Франция и Германия официально заявили, что опасности для населения нет. Но молоко лучше не пить.

Помещенная на газетном развороте детальная схема атомной электростанции показывала, как это произошло. Он был впечатлен тем, с какой скоростью газета раздобыла подробности происшествия. В подверстанных рядом статьях говорилось, что эксперты давно предупреждали о дефектах конструкции ядерного реактора. Внизу полосы был помещен обзор британских атомных станций примерно такой же конструкции. А в редакционной статье утверждалось, что давно уже пора переходить на ветровые электростанции. Штатный обозреватель вопрошал, что же случилось с горбачевской политикой гласности. И отвечал: как всегда, все оказалось липой. В разделе писем в редакцию кто-то писал, что, где бы ни использовалась атомная энергия, на Востоке ли, на Западе ли, власти всегда врут.

Сидящая на противоположной стороне асфальтированной аллеи парка женщина читала бульварную газетенку. Роланд разглядел огромный заголовок: «Взрыв ядерного реактора!». От всей этой истории, со всеми ее подробностями, его уже тошнило. Словно он съел слишком большой кусок пирога. Такое же ощущение тошноты, наверное, вызывает радиоактивное облучение. Мимо проковыляли две старухи, обе опирающиеся на старомодные ходунки на рессорах. Он услышал, как кто-то из них произнес слово «чрезвычайный». От этого слова веяло легкомысленным энтузиазмом, как будто это была единственная тема для обсуждения. Страна объединилась, сплоченная общей опасностью. А ведь здравым инстинктом было бы пуститься наутек. Будь у него деньги, он снял бы домик где-нибудь в безопасном месте. Но где? Или купил бы авиабилет в США, в Питтсбург, где у него были друзья, или в Кералу, в Индии, где они с Лоуренсом могли бы жить на гроши. И как бы на это посмотрел детектив-инспектор Браун? Надо бы, подумал Роланд, поговорить с Дафной.

Прогноз погоды, напечатанный на последней странице газеты, предсказывал северо-восточный ветер. Облачность ближе к вечеру. Первым делом надо было забросить домой бутылки с питьевой водой и начать заклеивать окна. Он изолирует себя от мира. Идти до дома ему было минут двадцать. Когда Роланд достал из кармана ключ от входной двери, Лоуренс проснулся. И сразу безо всякой причины, как водится у младенцев, захныкал. Тут важно было побыстрее взять его на руки. Задача не из простых: надо быстро расстегнуть ремни безопасности, вынуть из коляски раскрасневшегося от плача младенца и втащить в дом коляску, пакет с бутылками воды, цветы и пачки укрывной пленки. Войдя в дом, он увидел открытку – она лежала на полу, исписанной стороной вверх, очередная открытка от Алисы, уже пятая. На сей раз она была чуть многословнее. Но он не стал ее поднимать, а понес Лоуренса и покупки на кухню.

⁹ Имеется в виду пожар на британском атомном комплексе «Уиндскейл» 10 октября 1957 года, сопровождавшийся радиоактивным выбросом.

2

Он с родителями приехал в Лондон из Северной Африки в конце лета 1959 года. Как тогда говорили, на страну накатила аномальная жара: было 89 градусов по Фаренгейту¹⁰ и «знойно» – новое слово для Роланда. А он отнесся к этому с пренебрежением, он же был гордым жителем места, где утром свет был слепяще-белым, где жаркая волна ударяла тебе в лицо, отскакивая от раскаленной земли, и смолкали цикады. Он мог бы сказать об этом родственникам. Но вместо этого он говорил себе. Здесь улицы вокруг домика его сводной сестры Сьюзен были прямые и аккуратные и казались воплощением неизменности. Огромные плиты мостовой и бордюры тротуаров такие тяжелые, что их не сдвинешь, не говоря уж о том, чтобы уволочь. На гладких черных дорогах не увидишь ни коровьих лепешек, ни принесенного ветром песка. Вокруг ни собак, ни верблюдов, ни ослов, ни криков, ни протяжных автомобильных гудков, ни тачек, доверху груженных дынями, или финиками, прилепленными к своим веткам, или глыбами льда, таявшими под наброшенной на них мешковиной. Над улицами не витают запахи пищи, не слышно ни свиста, ни стука колес, не воняет пережженным маслом и горелой резиной из придорожных автомастерских под навесами, где из старых шин штамповали новые. И муэдзины с высоченных минаретов не зовут на молитву. Здесь поверхность чистой дороги была слегка выпуклой в середине, словно внутри, спрятанная от посторонних глаз, была вкопана толстая черная труба. Изгиб мостовой, объяснил ему отец, позволял дождевой воде стекать на обочину, что было весьма предусмотрительно. Роланд заметил тяжелые чугунные водостоки в незамусоренных мощеных желобах вдоль дорог. Сколько же труда потребовало замостить несколько метров самой обычной улицы, и на это, похоже, никто не обращал внимания. Когда же он попытался рассказать маме Розалинде про свою идею с черной подземной трубой, она его не поняла. «Труба», сказала она, это железная дорога под землей¹¹. Но она не доходит до Ричмонда. По видимому участку его черной трубы транспорт двигался равномерно, никто никуда не торопился. Никто не намеревался обогнать остальных.

После обеда в их первый день возвращения «домой» он отправился с отцом, капитаном Робертом Бейнсом, за покупками в английские магазины. Свет был золотистый и казался приторно густым. Преобладающие цвета вокруг были сочно красные и зеленые – знаменитые автобусы и удивительные почтовые ящики, над которыми высились ряды конских каштанов и платанов, а под ними – шеренги кустарников, лужайки с бордюрами из дерна и пробивавшийся сквозь трещины в тротуарах бурьян. Красное вместе с зеленым, говорила мама, лучше не видеть. Эти несочетаемые цвета ассоциировались у него с тревогой, вызывая напряжение в плечах, отчего он шел, чуть ссутулившись вперед. А на следующий день родители повезли его за семьдесят миль от Лондона знакомиться с новой школой. Оставалось еще несколько дней до начала учебного года. И мальчишки, его будущие одноклассники, туда еще не приехали. Чему он был рад, потому что от самой мысли о них у него в животе возникали спазмы.

Слово «мальчишки», то есть мальчишки в целом, придавало им пугающий авторитет, власть банды. Когда отец называл их «парни», он мысленно представлял их высокими, жилистыми, безответственными крепышами. Потом они должны были заехать в городок, расположенный в шести милях от его школы – *его школы*, – чтобы в тамошнем магазине одежды купить ему школьное обмундирование. И от этой перспективы у него скрутило живот. Официальными цветами школы были синий и желтый. Список одежды включал в себя комбинезон, резиновые сапоги, два вида галстуков и два вида пиджаков. Он не признался родителям, что понятия не имел, как поступить с этой одеждой. Но он не хотел никого подвести. Кто бы мог ему разъяс-

¹⁰ Около 32 градусов по Цельсию.

¹¹ Речь идет о «Трубе» – так в Лондоне называют метрополитен.

нить, что делать с комбинезоном, зачем ему резиновые сапоги, зачем нужен блейзер, что такое «твидовый пиджак с кожаными накладками» и когда все это надо надевать и когда снимать?

Он в жизни не носил пиджаков. Зимой в Триполи он иногда надевал связанный мамой джемпер с узором в виде косички спереди. А за два дня до того, как они сели на двухвинтовой самолет, который доставил их в Лондон с остановками на Мальте и в Риме, отец научил его завязывать галстук. И в гостинной он не раз продемонстрировал родителям, как это у него получается. Дело оказалось непростое. И Роланд даже сомневался, что, оказавшись среди сотен других мальчиков, высоких жилистых *парней*, выстроившихся перед гигантскими зеркалами вроде тех, что он видел на фотографии Версальского дворца, он вспомнит, как делать узел на галстуке. Он окажется там один, и все станут над ним смеяться, и ему будет жутко неловко.

Они ушли купить отцу сигарет и, главное, чтобы поскорее вырваться из двух комнатных помещений, в которых жила Сьюзен со своим мужем и маленькой дочкой. А мама уже убрала их походные кровати и пылесосила идеально чистые коврики. Маленькая девочка, у которой резались первые зубы, беспрестанно плакала. И они правильно поступили, решив, что «мужчинам» не надо путаться под ногами. Они шагали рядом минут пятнадцать. На перекрестке, где рос огромный конский каштан, их улица встречалась с главной дорогой, образуя широкий prospect, тянувшийся к первому магазину на их маршруте. Он привык к высоким эвкалиптам с сухо шуршавшей листвой и отслаивавшейся от стволов корой, деревьям, казалось, вечно жившим на грани смерти от жажды. Он любил долговязые пальмы, склонявшиеся в бездонное синее небо. Но лондонские деревья с их богатой листвой были величественными, точно королева, и оставались неизменной приметой городского пейзажа, как почтовые ящики. А здесь его обуревала неодолимая тревога. Парни, комбинезон и все прочее не имели для него никакого смысла. Отдельные листочки конского каштана, точно линия средиземноморского горизонта, как строки, написанные мелом на классной доске в его начальной школе в Триполи, обладали своим секретом, который он вряд ли сам себе смог бы поведать. Перед глазами все расплывалось. Еще год назад он мог все видеть четче, чуть прищурившись. Но больше так не получалось. Что-то с ним было не так, но он не мог даже подумать о том, чем это ему грозило. Слепота. Это была болезнь, катастрофа. Он не мог рассказать об этом родителям, потому что боялся их разочаровать. Все могли видеть четко и ясно, а он не мог. И это был его постыдный секрет. Он отправится в пансион, никому не сказав о своей тревоге, и будет справляться с ней в одиночку.

Каждый каштан казался ему неприступной скалой однообразной зелени. Когда они приблизились к первому каштану, на его ветках только-только начали появляться листочки – задорные пятипалые ладошки. Если он остановится, чтобы рассмотреть их повнимательнее, то может выдать свой секрет. Отец не одобрял привычку разглядывать листья.

Когда они дошли до газетного киоска, капитан, вместе со своими сигаретами, купил, не спрашивая, плитку шоколада для сына. Прослужив многие годы до войны в пехоте и проведя эти годы в казармах Форт-Джорджа, в Шотландии, получая скромное жалованье и вечно оставаясь голодным, отец Роланда привык ценить угощения, которые мог купить сыну. А еще он был строгим, и Роланд боялся его послушаться. Эта была гремучая смесь. Роланд боялся и любил отца. Как мама.

Роланд сейчас был в том возрасте, когда сочетание ароматов шоколада, ирисок, сладкого печенья и толченого арахиса могло завладеть всеми его чувствами и заставить забыть об окружающем. Когда он пришел в себя, они уже входили в другую лавку. Пиво для мужчин, херес для дам, лимонад для ребенка. А уже ближе к вечеру по телевизору показывали футбольный матч, чудесным образом транслируемый со стадиона «Айброкс-парк» в Глазго. А завтра вечером будут передавать эстрадный концерт из лондонского «Палладиума». В Ливии телевидения не было, никто даже не обсуждал его отсутствие. Радиопередачи из Лондона, транслируемые для семей военнослужащих, расквартированных за рубежом, заглушались треском и шипением космической какофонии. Но для Роланда и его родителей телевидение было не просто

новинкой. Это было чудо. Просмотры телепрограмм были семейным праздником. Поэтому для них требовались напитки к столу.

Закупившись в винной лавке, отец с сыном отправились обратно домой с тяжеленными коричневыми пакетами, набитыми разнообразными бутылками. Когда до их проспекта оставалось еще минут пять ходу и они только что миновали газетный киоск, раздался оглушительный удар, похожий на резкий выстрел из винтовки 303¹², который Роланд не раз слышал на стрельбище базы «Одиннадцатый километр». Когда он обернулся посмотреть, что там стряслось, увиденная им картина врезалась в его память на всю жизнь. Под конец жизни она в его угасавшем сознании превратилась в вереницу зыбких очертаний и шепотков. Человек в белом шлеме, черной куртке и синих штанах описывал низкую дугу в воздухе. Поскольку он летел головой вперед, то создавалось впечатление, будто он прыгнул по собственной воле, решив выказать беспримерную удачу и отвагу. Он приземлился на четвереньки, ударился лицом о мостовую и со скрежетом проехался по асфальту. При ударе шлем соскочил с его головы. По самым скромным прикидкам, он проскользил по асфальту метров десять, а может, и двенадцать. Позади него стоял небольшой автомобиль с вдавленным передком и выбитым лобовым стеклом. Мотоциклист перелетел над его крышей. В придорожном водостоке валялся вверх тормашками покореженный мотоцикл. Сидевшая за рулем автомобиля женщина истошно визжала.

Поток транспорта на дороге замер, и над городом, казалось, повисла мертвая тишина. Роланд побежал следом за отцом через дорогу. Будучи молодым солдатом Хайлендского легкого пехотного полка, двадцатитрехлетний капрал Бейнс участвовал в боях на Дюнкеркском побережье, так что он повидал немало и убитых, и разорванных взрывами, но все еще живых однополчан. И он знал, что лежавшего на дороге раненого мотоциклиста лучше не трогать. Он приложил ухо к его рту – проверить, дышит ли тот, и попытался нащупать пульс в окровавленных волосах на виске. Роланд внимательно наблюдал. Капитан перевернул мотоциклиста на бок и чуть раздвинул ему ноги, чтобы тот оставался лежать в таком положении. Он снял свой пиджак, сложил и подsunул мотоциклисту под голову. Потом они пошли к автомобилю. Вокруг уже собралась толпа. Капитан Бейнс не один знал, что делать: все мужчины, за исключением молодых парней, подумал Роланд, побывали на войне и тоже знали. Передние дверцы автомобиля были распахнуты, и в салон заглядывали трое мужчин. Все пришли к общему согласию, что женщину не стоит трогать. Она была совсем молоденькая, со светлыми выющимися волосами, в атласной блузке в яркий горошек, перепачканной ее кровью. Весь ее лоб пересекала рваная рана. Она уже не визжала, но то и дело повторяла: «Ничего не вижу, ничего не вижу!» Из глубины автомобиля донесся глухой мужской голос: «Не волнуйся, птенчик! Это тебе кровь попала в глаза». Но она не умолкала. Ошеломленный Роланд отвернулся.

Вскоре на место происшествия примчались две кареты «Скорой помощи». Молодая женщина, успокоившись, сидела на краю тротуара с наброшенным ей на плечи одеялом. Санитар «Скорой помощи» перевязывал ей рану на лбу. Мотоциклист лежал без сознания на носилках рядом с машиной «Скорой помощи». Салон «Скорой» был выкрашен сливочно-белой краской и освещен желтыми лампами. В салоне лежали красные одеяла и были установлены две узкие кровати через проход, как в детской спальне. Его отец и еще двое мужчин вызвались помочь санитарам внести носилки в салон, но их помощь не понадобилась. В толпе слышались сочувственные восклицания, когда молодой женщине помогли улечься на носилки и она заплакала. Ее накрыли одеялом и, подоткнув края, внесли в другую карету «Скорой помощи». И все это время, как заметил Роланд, на фургонах мигали синие проблесковые маячки. Доблестно мигали.

Эти несколько минут показались ему пугающими. В свои одиннадцать лет он никогда не переживал ничего подобного. События этих минут казались ему клочковатым сновидением.

¹² Состоящая на вооружении британской армии с конца XIX века винтовка Ли-Энфилда, или просто винтовка 303.

В его воспоминаниях они смазались, их очередность была нарушена. Возможно, сперва они подбежали к автомобилю, а потом к лежавшему на дороге мотоциклисту, потому что никто не бросился ему на помощь. Потом наступил провал, как бывает во сне, когда приехали две «Скорые». Наверное, они ехали с включенными сиренами, но он их не слышал. Там же была и полицейская машина, но он не заметил, как она подъехала. И, может быть, какая-то женщина в толпе упала в обморок, и именно она сидела на тротуаре с наброшенным на плечи одеялом. И, может быть, молодая женщина за рулем так и осталась сидеть в автомобиле, пока санитар прикладывал тампон к ее ране на лбу, чтобы остановить кровь.

А желтые лампы внутри кареты «Скорой помощи» могли быть бликами солнечного света. В памяти не так-то просто обнаружить крупные детали вроде листьев конского каштана. Вот летящий в воздухе мотоциклист – это неоспоримая вещь. Как и то, что он шмякнулся на мостовую и проехался лицом по асфальту, а его белый шлем вприпрыжку откатился на поросшую травой обочину. Но чего не смог забыть Роланд и что произвело на него неизгладимое впечатление, произошло после того, как задние дверцы карет «Скорой помощи» захлопнулись, фургон сорвался с места и влился в поток транспорта. Он расплакался. И отвернулся, чтобы отец не увидел его слез. Роланду было жалко и мотоциклиста, и молодую женщину, управлявшую автомобилем, но плакал он не поэтому. Он плакал от радости, от внезапной теплой волны понимания, которое в тот момент еще не оформилось в четкое определение: какими любящими и хорошими были люди, каким добрым был мир, в котором откуда ни возьмись появляются кареты «Скорой помощи» всякий раз, когда кто-то испытывает горе и боль. Всегда начеку, надежно работающая система, невидимая под покровом повседневности, бдительно ждет, всегда готовая применить свои знания и умения и прийти на помощь, неразрывно вплетенная в гигантскую сеть доброты, которую ему еще предстояло обнаружить. Так ему казалось тогда, пока кареты «Скорой помощи» удалялись с места происшествия и вой их сирен таял вдалеке, что все работало, все было проникнуто добропорядочной заботой и справедливостью. Он тогда еще не понимал, что скоро покинет родной дом навсегда и в следующие семь лет, что составляло три четверти прожитой им жизни, он проведет в школе, а дома будет появляться только как гость. И что после школы наступит взрослая жизнь. Но он ощущал, что находится на пороге новой жизни, и теперь понимал, что мир станет поступать с ним сочувственно и честно. Он примет его в свои объятия и будет обращаться с ним по-доброму, по справедливости, и что ни ему, ни кому-то другому не сможет причинить зла – а если и причинит, то ненадолго.

Толпа начала рассеиваться, все возвращались к своим повседневным заботам. И тут Роланд заметил троих полицейских, стоявших у патрульной машины. Рука капитана Бейнса, от кончиков пальцев до локтя, была покрыта засохшей кровью цвета ржавчины. Пойдя вместе с Роландом за своим свернутым пиджаком, оставшимся в придорожном водостоке, он на ходу расправлял закатанные рукава рубашки. На шелковой подкладке пиджака виднелись пятна крови. Они перенесли пакеты с покупками на другую сторону улицы и остановились, пока отец надевал пиджак. Он объяснил сыну, что ему пришлось скрыть эту кровь от глаз полицейских. Он не хотел, чтобы его вызвали в суд как свидетеля происшествия. Ведь ему с мамой на следующей неделе нужно лететь на самолете домой. Напоминание, что он с ними не полетит, вдруг ясно дало понять Роланду, что вот и наступил конец. И к нему тут же вернулись все прежние тревоги. До дома Сьюзен они шли молча. А потом к ним присоединился ее муж, Кит, музыкант армейского оркестра, где он играл на тромбоне. И когда младенец наконец уснул, они пили пиво, херес и лимонад и, зашторив окна, смотрели футбол по телику.

А через два дня Роланд с родителями сел на поезд от станции «Ливерпуль-стрит» до Ипсвича. Выйдя из здания вокзала, выстроенного в коматозном викторианском стиле, они, следуя изложенным в письме указаниям секретаря директора школы, стали ждать 202-й автобус. Через сорок пять минут автобус появился – пустой двухэтажный гроб экзотической бордово-кремовой расцветки. Они сели наверху, чтобы капитан мог там курить. Роланд сел у окна,

раскрытого из-за жары. Они поехали по длинной и прямой главной улице мимо теснящихся впритык домиков из темно-красного кирпича. У лодочной мастерской они свернули на узкую дорогу вдоль поймы. И вдруг в их поле зрения оказалась широченная река Оруэлл, чье полноводное русло сверкало чистотой и голубизной. Роланд сидел, отвернувшись от родителей, поэтому он прищурился в надежде получше разглядеть реку. На дальнем берегу, выше по течению, виднелась гидроэлектростанция. Одинокaя дорога петляла по болотистой низине, испещренной мутными озерцами, от которых в знойный день позднего лета поднимался запах соли и сладкого гниения и проникал в салон автобуса. На дальнем берегу теперь тянулись леса и луга. Он увидел баржу с высокими мачтами и парусами цвета крови на рукаве капитана. Роланд хотел было обратить внимание мамы на корабль, но она повернулась слишком поздно и ничего не увидела. Ему такой пейзаж был в новинку, и он как замороженный смотрел на него во все глаза. Когда автобус стал карабкаться по склону холма мимо древней башни и река скрылась из виду, он даже ненадолго забыл о цели их поездки.

Кондуктор поднялся к ним по лесенке и на местном говорке, который звучал как напев, сообщил, что на следующей остановке им выходить. Они сошли с автобуса и оказались в прохладной тени большого дерева с разлапистыми ветвями. Дерево росло на противоположной стороне дороги рядом с деревянной скамейкой. Не конский каштан, но оно напомнило Роланду о его секрете, и радости автобусной поездки были сразу позабыты. Отец вынул из кармана письмо секретаря директора школы, чтобы снова свериться с инструкциями. Они вошли в распахнутые настежь чугунные ворота со сторожкой и направились по проселку. Никто не проронил ни слова. Роланд взял маму за руку. Она сжала его ладошку. Ему показалось, что у нее встревоженное лицо, и он стал думать, что бы ей такое интересное и ласковое сказать. Но он не мог придумать ничего другого, кроме того, что ожидало их впереди и что еще не было видно за деревьями. Неминуемое расставание. И ему надо было уберечь ее от этого расставания, отдалить его хотя бы на несколько мгновений. Они прошли мимо норманнской церкви и, когда проселок побежал под уклон, небольшого здания с бледно-розоватой побелкой, откуда доносились хрюканье и смрад свиней. Потом проселок побежал в горку, и с высоты им открылся вид на стоявшее от них на расстоянии трехсот ярдов, у края зеленого поля, величественное здание серого камня с колоннами, длинными изогнутыми флигелями и высокими печными трубами. «Бернерс-холл», как позже узнает Роланд, был великолепным примером архитектуры английского палладианства. В отдалении от основного комплекса, почти скрытая в зелени высоких дубов, стояла конюшня рядом с водонапорной башней.

Они остановились, чтобы осмотреть постройки. Капитан махнул рукой вперед и зачем-то объявил: «Вот она».

Они поняли, что он имел в виду. Или, скорее, Розалинда Бейнс точно поняла, а ее сын смутно догадывался.

* * *

Мало кто в Британии что-то знал о Ливии. Еще меньше знали о расположенном там британском контингенте, напоминавшем о грандиозных кампаниях в пустыне во время Второй мировой войны. В международной политике Ливия была глухоманью. Шесть лет семейство Бейнс вело неприметную жизнь на задворках мира. Если спросить Роланда, то вполне себе ничего жизнь. Был там пляж под названием Пикколо Капри¹³, где семьи военнослужащих собирались ближе к вечеру, после учебы и работы. Офицеры группировались с краю, все прочие – чуть подальше. Лучшими друзьями капитана были такие же вояки, как и он сам, фронтовики, поднимавшиеся после войны по карьерной лестнице. Офицеры базы «Сэндхерст» и их семьи

¹³ Маленькое Капри (ит.).

принадлежали другому миру. Все друзья Роланда и Розалинды были детьми и женами друзей капитана. Вот какие у них были там памятные места: этот самый пляж, начальная школа (в ней преподавала Розалинда), расположенная рядом с казармами Азизии в южной части города – цель, которую американцы в один прекрасный день уничтожат; представительство Ассоциации молодых христиан¹⁴ в центре Триполи, где подрабатывала Розалинда; ремонтные мастерские танков и легкой бронетехники в лагере Гурджи, где работал капитан; торговый центр «Наафи», где они совершали покупки. В отличие от многих других семей они также закупались овощами и мясом в триполийском суке¹⁵. Розалинда тосковала по дому, в свободное время вязала вещишки для младенцев, хотя среди ее учеников не было младенцев, почти каждую неделю заворачивала в блестящую бумагу подарки кому-то на день рождения, ежедневно писала родным письма, которые обыкновенно заканчивались словами: «Мне пора бежать, чтобы не пропустить отправку почты».

Средних школ там не было, поэтому, когда Роланду исполнилось одиннадцать, ему пришлось возвращаться в Англию. Капитан Бейнс считал, что его сын слишком уж по-девчачьи привязан к матери. А он помогал маме по хозяйству, спал с ней в одной кровати, когда капитан уезжал на маневры, и даже в девять лет все еще по привычке держал ее за руку. Ее бы воля, она с радостью вернулась бы вместе с ним домой, в Англию, к нормальной жизни и устроилась в местную школу, где бы учился ее сын. Армия сокращалась, и тем, кто был готов досрочно демобилизоваться, предлагались очень неплохие условия. Но его отец, будучи щедрым и строгим, добрым и властным, боялся любых перемен в жизни задолго до того, как смог четко сформулировать аргументы против этих перемен. У него тогда были иные соображения в пользу того, чтобы отправить Роланда подальше. Как-то вечером, два десятилетия спустя, за стаканом пива, майор (в отставке) Бейнс сказал сыну, что дети всегда путаются под ногами и мешают браку. Поэтому то, что для Роланда нашли государственную школу-пансион в Англии, было удобно «для всех».

Розалинда Бейнс, урожденная Морли, офицерская жена, дитя своего времени, не тяготилась и не возмущалась своим бесправием в семье и не сильно по этому поводу убивалась. Они с Робертом бросили школу в четырнадцать лет. Он нанялся разносчиком в мясную лавку в Глазго, а она – горничной в зажиточную семью близ Фарнхэма. С тех самых пор чистый, прибранный дом стал ее страстью. Роберт и Розалинда мечтали обеспечить Роланду образование, которого сами не получили. Такова была ее версия их семейной жизни. Мысль о том, что ее сын мог бы учиться в школе и при этом оставаться рядом с ней, ей пришлось стоически отвергнуть. Она была хрупкая, нервная и, по всеобщему мнению, очень симпатичная женщина, которая тревожилась по пустякам. Ее было легко напугать, она до смерти боялась Роберта, когда тот напивался, а это случалось каждый день. Она чувствовала себя лучше всего и всегда позволяла себе полностью расслабиться в долгих откровенных беседах с близкой подругой. Вот когда она без умолку рассказывала всякие занятные истории из жизни и от души хохотала – тем журчащим переливчатым смехом, который капитан Бейнс редко когда слышал. Роланд был одним из ее самых близких друзей. По выходным, когда они вместе хозяйничали по дому, она рассказывала ему о своем детстве в деревеньке Эш, вблизи городка Олдершот, где стоял военный гарнизон. Они с братьями и сестрами обыкновенно чистили зубы веточками. Ее работодатель подарил ей первую в жизни зубную щетку. Как и многие сверстники, она потеряла почти все зубы в двадцать с небольшим лет. В газетных карикатурах людей частенько изображали в кровати, а рядом на тумбочке стоял стакан с вставной челюстью. Она была старшей из пяти детей в семье и большую часть детства провела в заботах о братьях и сестрах. Она была очень близка

¹⁴ YMCA, или ИМКА – молодежная волонтерская организация, специализирующаяся в создании по всему миру детских оздоровительных лагерей. Основана в Лондоне в 1844 году.

¹⁵ Сук – торговый район в арабских городах.

со своей сестрой Джой, которая до сих пор жила около Эша. А чем же занималась их мать, когда Розалинда присматривала за братьями и сестрами? Ее ответ всегда был один и тот же – мнение ребенка, которое не изменила взрослая жизнь: твоя бабуля садилась на автобус и ехала в Олдершот, где бродила по улицам и глазела на магазинные витрины. Мать Розалинды была ярая противница косметики. Будучи подростком, редкими вечерами Розалинда встречалась с подругой Сибил, они прятались в их особом месте – коротком тоннеле под шоссе на краю деревни – и там красили губы помадой и пудрили щеки. Она рассказала Роланду, как в двадцать лет выскочила за своего первого мужа Джека и как ждала от него ребенка, Генри, уверенная, что младенец выйдет из нее через задний проход. Но повитуха вправила ей мозги. Роланд хохотал вместе с мамой. Он понятия не имел, откуда появляются дети, но знал, что об этом нельзя спрашивать.

Война вторглась в жизнь Розалинды ошеломительно. Она работала помощницей старого водителя грузовика по имени Поп. Они доставляли провизию в окрестностях Олдершота. На дорогу упала бомба, и от взрыва их грузовик вынесло в придорожную канаву. Никто из них не пострадал. Она продолжала работать у Попа и после войны. Но потом пришло известие, что Джек Тейт погиб на поле боя, и она осталась вдовой с двумя детьми на руках. Генри жил у бабушки с отцовской стороны. Сьюзен поместили в лондонский приют для дочерей погибших военнослужащих. Во время войны работы для женщин было полно. В 1945 году, постоянно бывая на армейском складе в пригороде Олдершота, она познакомилась с красивым сержантом-охранником. Говорил он с шотландским акцентом, был подтянут и имел аккуратно подстриженные усики. После многих встреч он пригласил ее на танцы. Она его боялась и несколько раз отказывала, прежде чем согласиться. Спустя два года, в январе, они поженились. А еще через год родился Роланд.

Она всегда говорила о своем первом муже, понизив голос. Роланд сам пришел к выводу, что – об этом ему и говорить не надо было – в присутствии отца об этом человеке лучше не упоминать. Его имя звучало героически: Джек Тейт. Он умер от ранения в живот, полученного в Голландии через четыре месяца после высадки союзных войск в Европе. До войны он практически не бывал дома. Всякий раз, когда он исчезал, Розалинда со своими двумя детьми жила «на подаяния», то есть влачила нищенское существование. Иногда сельский полицейский приволакивал Джейка Тейта домой. Где же он пропадал? Ответ Розалинды на этот вопрос Роланда тоже всегда был один и тот же: спал в кустах.

Сводные брат и сестра Роланда, Генри и Сьюзен, были для него далекими романтичными фигурами – взрослыми, живущими самостоятельной жизнью в Англии, имевшими работу, семьи и детей. В свободное время Генри играл на гитаре и пел в музыкальной группе. Сьюзен жила с ними, пока Роланду не исполнилось шесть. Ему она казалась красивой, и он был в нее влюблен. Но оба были детьми Джека Тейта, и в обоих было нечто запретное, отчего они всегда были словно окутаны дымкой. Почему же в 1941 году их отослали жить к строгой и нелюбящей бабушке, матери Джека, задолго до смерти их отца? Генри жил с бабушкой все время, покуда оставался подростком, до того момента, как его призвали в армию. А Сьюзен позднее поместили в малоприятное заведение в Лондоне, основанное еще в девятнадцатом веке, где готовили прислугу для богатых домов. Там она заболела: у нее в горле возник абсцесс, и в конце концов она вернулась домой.

Так почему Сьюзен и Генри не росли рядом с матерью? Он не задавал подобных вопросов, даже мысленно. Они были частью плотного облака, окутавшего отношения в их семье. Но это облако было общепринятой особенностью их жизни. На протяжении половины своего детства, прошедшей в Ливии, он никогда не осмеливался писать своему брату и сестре. И они никогда ему не писали. Он как-то подслушал, что в браке Сьюзен с музыкантом Китом возникли неприятности – что тоже было достаточно туманным определением. И сестре даже пришлось прилететь в Триполи и немного пожить с ними. В день, когда они отправились

на военно-воздушную базу Идрис, чтобы встретить ее там, Розалинда отвела Роланда в сторону и заговорила с ним строгим голосом. Все сказанное она повторяла дважды, как будто он в чем-то провинился. Он никому никогда не должен сообщать, что у него и его сестры разные отцы. Если кто-нибудь спросит, он должен сказать, что его отец – это и отец Сьюзен. Это понятно? Он кивнул, не поняв ничего. Эта серьезная взрослая тема целиком находилась в семейном облаке. Не говорить на эту тему казалось ему подходящим и разумным.

В самом начале, когда Роланд с мамой в первый раз приехали в Триполи, где служил капитан, они жили в небольшой, на две спальни, квартирке на четвертом этаже с крохотным балконом. Неподалеку располагался королевский дворец. Жара, незнакомая жизнь центральных кварталов Триполи и каждодневные прогулки на пляж приводили его в восторг. Но в семье ощущалось что-то неладное, и очень скоро это ощущение передалось семилетнему Роланду. Ночные кошмары, крики ужаса, попытки выпрыгнуть из окна спальни во время приступов лунатизма. Иногда ближе к вечеру родители оставляли его в квартире одного. Тогда он садился в кресло, прижав колени к груди, и, дожидаясь их возвращения, с ужасом вслушивался в каждый звук.

Потом он пристрастился проводить время после обеда в соседней квартире, где жила добродушная дама – она была наполовину итальянка – с дочкой Джун, девочкой его возраста, быстро ставшей его лучшей подружкой. Мама Джун была психиатром, и, видимо, она предложила его маме практическое решение. Бейнсы переехали в белую одноэтажную виллу на ферме в западной части Триполи. Здесь вокруг росли арахисовые деревья, оливы и виноград. И если бы он во сне выпрыгнул из окна, то пролетел бы не более двух футов. И подаренный ему щенок Джамбо, вероятно, тоже был идеей психиатра. Когда Джун с мамой вернулись в Италию, Роланд какое-то время оставался безутешен. Но ферма его взбодрила, вернула к жизни. В миле отсюда, там, где кончались оливковые рощи и начиналась поросшая сухими кустарниками пустыня, находился военный лагерь Гурджи, где работал капитан. Иногда Роланд ходил туда один по узкой песчаной тропинке, бежавшей между высокими рядами кактусов к дому своего школьного товарища.

В другом углу семейного облака обреталась мамина печаль. Для него она была как нечто само собой разумеющееся. Она таилась в ее приглушенном голосе, в ее нервозности, в ее манере вдруг прерывать свое занятие и смотреть в сторону, предаваясь то ли мечтам, то ли воспоминаниям. Она таилась в ее внезапных выплесках раздражения к нему. Но она всегда сглаживала такие моменты добрым словом. Ее печаль сближала их. Каждый три-четыре месяца капитан Бейнс отправлялся со своим подразделением на маневры в пустыню, длившиеся обычно пару недель. Целью этих маневров было подготовиться к тому дню, когда египтяне, при поддержке русских, нападут на Ливию с востока. Танкам «Центурион», которые обслуживали ремонтные мастерские капитана, требовалось постоянно поддерживать готовность к оборонительным действиям. Роланд, кому было кое-что известно об этих военных приготовлениях, забирался по ночам к маме в постель, чтобы не только ощутить там уютный комфорт, но и просто побыть рядом с ней. Он оберегал ее, одновременно ощущая в ней потребность.

Но он испытывал и потребность в отце. К старости привычка всегда действовать осмысленно и военная тяга к порядку стали для капитана Бейнса чуть ли не болезненной манией. Но в сорок лет он еще сохранял вкус к приключениям. Когда мимо их дома шли бродячие музыканты-арабы, он выходил к ним на дорогу, брал у них зукру – что-то вроде волынки – и играл вместе с ними. Его сослуживцы никогда бы не прикоснулись губами к тому месту, к которому прижимались губы араба. Поездки на машине вместе с девятилетним сыном, возможно, входили в его программу обучения мальчика мужским доблестям и навыкам. Они ездили на учебный полигон, где Роланд учился лазать по канату и передвигаться по горизонтально натянутой сетке с помощью одних только рук. На стрельбище «Одиннадцатый километр» он лежал рядом с отцом и разглядывал через прицел винтовки 303 – номер четыре цель

первая, как его учили говорить, – далекие мишени на гребне песчаного бархана. Роланд нажимал на спусковой крючок, а капитан принимал своим плечом отдачу приклада при выстреле. Звук выстрела, чувство опасности, ощущение смертоносной силы винтовки – от этого у него голова шла кругом. А еще отец договорился с сержантом, чтобы тот позволил Роланду сесть в танк и поуправлять им на полигоне, пустив машину по крутым песчаным дюнам. Он обучил сына азбуке Морзе и принес домой два кнопочных передатчика для азбуки Морзе и сто ярдов колючей проволоки. Отец возил его на парадный плац Азизии, где мальчик мог кататься на роликовых коньках на дальние расстояния. Капитан Бейнс считал плавание достойным мужским занятием. Он учил сына нырять и задерживать под водой дыхание на полминуты, плавать кролем, потому что брасс был стилем, подходящим для девочек. А на пляже они играли в придуманную ими игру под названием «рекорд». Капитан заходил в море по грудь и медленно отсчитывал секунды, а Роланд стоял без поддержки у него на плечах, скользких от геля для волос. Под конец, незадолго до того, как они улетели в Лондон, их рекорд составлял тридцать две секунды.

Когда Роланд обмолвился, что хочет увидеть скорпиона, они с капитаном отправились в пустыню к западу от Триполи. Во время таких прогулок отец спрашивал: «Три восьмых?» – и Роланд кричал в ответ: «Триста семьдесят пять тысячных!» Или капитан говорил: «Двадцать миль?» – и Роланд делал подсчеты в уме: разделить на пять, умножить на восемь – и давал ответ в километрах. Так отец готовил его к школьным экзаменам для одиннадцатилеток, задавая вопросы, которые, как он думал, могли возникнуть. Но ни один такой вопрос не возник.

– Столица Западной Германии?

– Бонн!

– Имя премьер-министра?

– Макмиллан!

Они свернули на обочину безлюдного шоссе в сторону Туниса. Минут десять они шагали в глубь бескрайней каменистой пустыни, поросшей редкими кактусами и кустарниками. Роланд совсем не удивился, когда под первым же камнем, поднятым отцом, оказался крупный желтый скорпион. Он поднял хвост и выставил шип. Он словно их ждал. Капитан хладнокровно смахнул его щелчком большого пальца в пустую банку из-под джема. И Роланд потом несколько недель пытался кормить скорпиона жуками-оленьями, но скорпион только съеживался. Розалинда сказала, что не может спать в одном доме с этой тварью. Тогда Роберт отнес его к себе в ремонтные мастерские и потом принес обратно в запечатанной банке с формальдегидом. Многие годы Роланд представлял себе, как призрак скорпиона подкрадывается к нему, желая отомстить. Скорпион намеревался ужалить его в голую пятку, покуда он чистил зубы перед сном. Его могло утихомирить только одно – поглядеть на него и прошептать: «Извини».

Его величайшее судьбоносное приключение произошло чуть раньше, когда ему было восемь. Отец сыграл в нем главную роль, как далекий героический участник. Розалинды, вопреки обыкновению, дома не было. Впервые далекие пертурбации международной политики вторглись в его маленький мир. Он ничего в них не понимал. Только в средней школе он узнает, что разногласия между греческими богами имели серьезные последствия для земной жизни людей.

По всему Ближнему Востоку арабский национализм становился крепнущей политической силой, его непосредственными противниками были колониальные и бывшие колониальные европейские державы. Новое еврейское Государство Израиль, возникшее на землях, которые палестинцы считали своими, тоже был для него как кость в горле. Когда в конце июля египетский президент Насер национализировал принадлежавший англичанам Суэцкий канал, он стал героем арабских националистов. Считалось, что антибританские настроения мощно вспыхнут и в соседней Ливии. И когда Британия и Франция в союзе с Израилем напали на Египет, чтобы восстановить контроль над каналом, в Триполи прошли пронасеровские демон-

страции. Манифестанты также выступили под лозунгами против короля Идриса, стоявшего на страже интересов европейцев и американцев. И тогда Лондон и Вашингтон решили вывезти все семьи англичан и американцев в безопасное место, а затем эвакуировать из страны.

Но что мог знать об этом Роланд? Только то, что рассказывал ему отец – что арабы очень злые люди. И у него не было времени спрашивать почему. Всем детям и их матерям было предписано немедленно отправиться в ближайший военный гарнизон в целях безопасности. Совершенно случайно, когда разразился Суэцкий кризис, Розалинда находилась в Англии, где навещала Сьюзен. У нее в семье как раз начались «неприятности», о которых Роланд ничего не знал. Как не знал, кто пришел в их белую виллу и упаковал в сумку его вещи, пока он был в школе. Конечно, не капитан, который в это время руководил эвакуацией семей военнослужащих и был очень занят.

Автобус, на котором он приехал из своей начальной школы, располагавшейся в казармах Азизии, в тот день не остановился у переулка, бежавшего мимо гранатовых деревьев к их белой вилле. Он проехал еще лишнюю милю до Гурджи. Там рядом с караулкой были оборудованы обложенные мешками с песком пулеметные гнезда, а на шоссе стояли легкие танки. Вооруженные солдаты махали и отдавали честь въезжавшему в военный гарнизон автобусу.

Огромные палатки на двадцать человек все были одинаковые, но предполагалось, что дети офицеров размещались в них отдельно от детей младших чинов. Жены совместно занялись обустройством общей кухни, обеденного зала и прачечной-душевой. На следующей неделе не произошло ничего серьезного. Вооруженные до зубов злые арабы не атаковали базу, чтобы покромсать британских детей и их матерей. Гарнизон был небольшой, никому не разрешалось покидать его территорию, и Роланд был на седьмом небе от счастья. Он с двумя друзьями исходил военный городок вдоль и поперек. Они узнали, как пахнет моторное масло, лужицы которого поблескивали на горячем сухом песке. Они обследовали ремонтные мастерские, заводили беседы с командирами танковых экипажей, гоняли мяч на гигантском пустыре размером с настоящее футбольное поле. Они вскарабкивались на разборные дощатые башни, чтобы добраться до пулеметных расчетов на самой верхотуре. В гарнизоне то ли дисциплина разладилась, то ли улетучились опасения перед возможным нападением арабов. Во всяком случае, дневальные офицеры и солдаты – все сплошь молодые парни – обходились с мальчишками вполне дружелюбно. Один лейтенант покатал Роланда по гарнизону на своем мощном мотоцикле. Иногда Роланд сам бродил по военному городку, радуясь возможности побыть в одиночестве. Офицерские жены, занимавшиеся приготовлением еды, купанием в большой жестяной ванне восемнадцати детей одного за другим, после чего укладывали их спать, были веселые и умелые. Роланду доставался избыток ласки, потому что его мама сейчас находилась далеко. Но в материнском внимании он как раз и не сильно нуждался.

Все жалобы и потребности адресовались капитану Бейнсу и его подчиненным. Иногда он появлялся у семейных палаток, чтобы решить ту или иную проблему, с неизменным револьвером в кобуре. Времени на разговоры с сыном у него не было. И это его вполне устраивало. Роланд был еще слишком мал, чтобы анализировать охватившую его в те несколько дней эйфорию. Нарушение повседневной рутины, восторг от осознания опасности, смешанный с преувеличенным ощущением безопасности, бесконечные часы безнадзорных игр с приятелями, ну и, наконец, отсутствие многих привычных ситуаций: ему не надо было шуриться, глядя на классную доску в школе Азизии, он был освобожден от тревожной опеки мамы и ее печали, как и от железного авторитета отца. Капитан больше на бриолинил сыну волосы по утрам до школы и не проводил ровный прямой пробор кончиком своей расчески. Мама больше не ахала по поводу свежих царапин на его ботинках. А самое главное, он был освобожден от всех семейных неурядиц, о которых никогда не говорили вслух и которые имели над ним власть такую же всепроникающую и таинственную, как гравитация.

Семьи покинули лагерь поздно ночью и отправились на военно-воздушную базу «Идрис» под плотной охраной вооруженного эскорта, включавшего бронетранспортеры. Роланд был горд тем, что его отец всеми командует, расхаживая со своим всегдашним револьвером в кобуре, отдавая распоряжения солдатам и сопровождая матерей с детьми до трапа двухмоторного самолета, вылетающего в Лондон. У него даже не возникло возможности с ним попрощаться.

Эта ситуация, с привкусом нереальной свободы, продолжалась восемь дней. Потом она помогала ему выдержать жизнь в пансионе, и под ее воздействием уже в двадцатилетнем возрасте сформировался его беспокойный характер, возникли сумбурные амбиции и усилилось неприятие постоянной работы. Но это же стало для него помехой – чем бы он ни занимался, его преследовала мысль, что где-то есть куда больше свободы, некая вольная жизнь, которая ему пока недоступна и которая останется недостижимой, стоит ему связать себя неразрывными обязательствами. Поэтому он упустил немало шансов и обрек себя на длительные периоды томительной скуки. Он все ждал, что стена жизни вдруг раздвинется словно театральный занавес, оттуда протянется рука и поможет ему войти во вновь обретенный рай. И тогда он достигнет своей цели, и его восторженное отношение к дружбе и общению и упоение неожиданным наконец-то будет укрощено и получит благополучный исход. Поскольку ему не удалось понять или сформулировать свои ожидания, пока они не увяли в более поздний период жизни, он оставался беззащитен перед их соблазнами. Он не знал, чего он – в реальной жизни – ждал. Что же до нереальной жизни, то он мечтал снова пережить те восемь дней, проведенные им на территории ремонтных мастерских Корпуса королевских инженеров-электриков и механиков в лагере Гурджи осенью 1956 года.

Вернувшись в Англию, Роланд и Розалинда полгода прожили в доме местного строителя в Эше, родной деревне Розалинды. Роланд ходил в ту же самую местную школу, что и его мама в начале 20-х годов, и где также учились Генри и Сьюзен. На Пасху следующего года Розалинда с Роландом вернулись в Ливию, но на этот раз они обосновались в поселке с новенькими виллами на морском побережье. Возможно, расставание пошло его родителям на пользу, потому что их жизнь стала куда веселее: мама уже не была такой нервной, а капитан радовался маленьким приключениям с сыном.

В июле 1959 года наконец выбрали частную школу-пансион и запланировали туда поездку на сентябрь, за несколько дней до начала учебного года. Роланд узнал, что там он будет ходить на уроки игры на фортепьяно. Сам капитан любил играть на губной гармошке, ловко импровизируя разные мелодии. Он любил песни времен Первой мировой войны вроде «Далеко до Типперэри», «Верни меня к дорогому старому Блайти», «Сложи все свои невзгоды в старую дорожную сумку». Еще ему нравились старые шотландские песенки из старого репертуара Гарри Лодера¹⁶, которые он здорово пел: «Малютка Док и Дорис», «Перестань меня щеко-тать, Джек!» и «Я родом из Глазго». Самой большой его радостью в жизни было пить пиво с сослуживцами, играть на губной гармошке, петь и заставлять армейских приятелей ему подпевать. Он очень жалел, что не научился играть на пианино, потому что у него никогда не было такой возможности. И Роланду следовало восполнить то, чего он был лишен. Парень, умеющий играть на пианино, частенько повторял он сыну, всегда будет душой компании. Потому что стоит ему заиграть старый шлягер, как все сбегутся к нему и подтянут любимую мелодию.

Об уроках музыки договорились с директором школы, который учтиво написал им, что он все устроил и с Роландом будет заниматься мисс Корнелл, недавняя выпускница Королевского музыкального колледжа. В школе к урокам музыки относились довольно серьезно, и он выразил надежду, что Роланд в следующем семестре уже примет участие в опере «Волшебная флейта».

¹⁶ Гарри (Генри) Лодер (1870–1950) – популярный шотландский комик и певец мюзик-холла.

За несколько недель до отъезда семьи из Ливии в Англию капитан предпринял очередную смелую инициативу. Он заказал доставку на трехтонном грузовике нескольких огромных дощатых ящиков. Капрал и рядовой вытащили эти ящики из кузова и отнесли в небольшой садик за домом. А отец с сыном сколотили их вместе гвоздями и сделали «базу» в саду. Роланду предстояло ползать по лабиринту ящиков и проводить химические опыты с разными веществами – вустерширским соусом, порошком для мытья посуды, солью, уксусом, – а также цветами мальвы, герани и сухими финиковыми листьями. Но, вопреки его надеждам, взрывчатой смеси не получилось.

* * *

Итак, вот она. Все трое поняли эти слова, каждый по-своему. Постройка в палладианском стиле на дальнем краю поля для крикета означала, что их триединой семье пришел конец. Ее ежедневные ритмы и токи скрытых чувств и конфликтов усилились в стенах этого далекого форпоста, одного из позабытых военных трофеев. Никто не сказал ни слова о конце, и они шагали туда в молчании. Наконец Роланд выпустил мамину ладонь. Отец махнул рукой, и они послушно посмотрели туда, куда он указал. По зеленому полю ездил небольшой трактор с прицепом, где лежал инвентарь для регби. Четверо человек подняли с помощью веревок Н-образные ворота. Раньше их не было видно за деревьями. Ровнехонькое, без единого бугорка, поле, пустое дощатое табло. Конец лета.

На повороте подъездной дороги они прошли мимо конюшни и водонапорной башни. За главным корпусом заметили раскрывшую объятия балюстраду и поросший папоротниками склон, тянувшийся к лесу, потом болотистый речной берег и синюю реку, чье широкое прямое русло убегало прочь от них к дальнему изгибу. В сторону Харвича, пояснил капитан.

Роланд не знал, это он сам так решил или кто-то ему сказал: никогда ничего не бывает так, как ты себе воображаешь. Он до конца осознал эту поразительную истину. Размах, просторы, величие и океан зелени – откуда ему было знать, что находилось за стенами их небольшого дома в Джорджимпополи, или за его партой перед исписанной нечеткими словами классной доской в казармах Азизии, или за ласковым морем и расслабляющей жарой пляжа Пикколо Капри? Сейчас он испытывал слишком сильный восторг, чтобы ощущать тревогу. Он шел между родителями, словно сквозь приснившийся пейзаж, к величественному зданию. Они вошли в боковую дверь. Внутри было прохладно, почти зябко. У противоположной стены небольшого вестибюля он заметил телефонную будку и огнетушитель. Крутая скромная лестница вела на второй этаж. Эти детали его немного успокоили. Затем они оказались в приемной, большом зале с высокими потолками, от которых отдавалось гулкое эхо, и тремя полированными темными дверями – все были закрыты. Семья смущенно остановилась в центре зала. Капитан Бейнс снова полез в карман за письмом с указаниями, как вдруг перед ним выросла фигура секретаря директора школы. После формальных представлений – ее звали миссис Мэннинг – началась экскурсия по пансиону. Приветливо задав Роланду несколько вопросов, на которые тот вежливо ответил, она объявила, что в этом учебном году он будет самый младший. После этого он уже почти не слушал ее, а она больше к нему не обращалась – какое облегчение! Ее слова были обращены к капитану. Он спрашивал, в то время как его жена и сын молча шли следом, как будто они оба были будущими учениками. Но они не глядели друг на друга.

Роланд запоминал все, что их экскурсовод говорила о «мальчиках». После обеда, когда не было матчей по регби, мальчики должны были надевать комбинезоны. Это его не слишком воодушевило. Она несколько раз заметила, что без мальчиков в пустой школе непривычно, но спокойно, да и порядка больше. Но она по ним правда скучала. И тут его старые тревоги вернулись. Мальчики знали то, чего он знать не мог, они знали друг друга, и они сильнее, крупнее, старше него. Они его невзлюбят.

Они вышли из здания через ту же боковую дверь и прошли под чилийской араукарией. Миссис Мэннинг обратила их внимание на статую Дианы-охотницы, рядом с которой стояло животное, похожее на газель. Они не подошли к ней поближе, хотя ему хотелось. Вместо того они вышли к лестнице, спускавшейся к воротам, украшенным, как она подробно объяснила, монограммой из кованого чугуна. Роланд уставился на бескрайнюю реку и унесся в мыслях далеко-далеко отсюда. Если бы они сейчас были дома, то готовились бы пойти на пляж. Резиновые ласты и маска с их особенным запахом, плавки, полотенца. Ласты и маска были бы во вчерашнем песке. На пляже его бы ждали друзья. А вечером перед сном мама натирала бы розовым каламиновым лосьоном его обгорелые и шелушащиеся плечи и нос.

Они приблизились к невысокой современной постройке. Войдя внутрь и поднявшись наверх, они осмотрели спальни. Тут были явные признаки общежития для мальчиков. Ряды металлических кроватей, застеленных серыми одеялами, шкафы с исцарапанными дверцами, которые миссис Мэннинг называла буфетами, а в умывальной ряды узких раковин под небольшими зеркалами. Ничто тут не напоминало Версальский дворец.

Под конец был чай с пирогом в администрации пансиона. Уроки музыки для Роланда были оплачены заранее. Капитан подписал какие-то бумаги, и, распрощавшись, они отправились в обратный путь по той же самой подъездной дороге, недолго прождали под раскидистым деревом автобус, который довез их до Ипсвича, а затем пошли в душный магазин одежды, где обшитые дубовыми панелями стены, казалось, всасывали весь свежий воздух. Времени, чтобы подобрать все по списку, ушло немало. Капитан Бейнс удалился в местный паб. Роланд примерил новенький твидовый пиджак с кожаными вставками на локтях и кожаной обшивкой на рукавах. Его первый в жизни пиджак. Вторым стал синий блейзер. Комбинезон им дали сложенным в картонную коробку. Мерять его не было необходимости, заверил продавец. Ему очень понравилась одна купленная вещь – эластичный ремень сине-желтого цвета, который застегивался на крючок в виде змейки. На поезде из Ипсвича в Лондон, направляясь в дом к его сводной сестре в Ричмонде, обложившись пакетами, где лежала купленная для него одежда, родители все донимали его вопросами, понравилось ли ему в школе, а как ему то, а как ему это. «Бернерс» не вызывал у него ни симпатии, ни антипатии, не приглянулся и не вызвал отторжения. Пансион просто имел место, от него было некуда деться, и он уже стал его будущим. Роланд сказал, что ему там понравилось, и, увидев выражение облегчения на их лицах, обрадовался.

Спустя пять дней после его одиннадцатого дня рождения родители отвели его на улицу рядом с вокзалом Ватерлоо, где стояли школьные автобусы. Один предназначался для новых учеников пансиона. Состоялось неловкое прощание. Отец похлопал его ладонью по спине, мама хотела было его обнять, но спохватилась и скованно заключила в короткое объятие, которое он неуклюже принял, думая, как это воспримут другие мальчики. А через пару минут он уже наблюдал за тем, как мальчики слезно обнимаются со своими родителями, но бежать обниматься со своими было поздно. В автобусе он пережил трудные пятнадцать минут, когда оставшиеся на мостовой родители улыбались и махали ему в окно и произносили неслышные ободряющие пожелания, а сидевшему рядом с ним мальчику вдруг захотелось поболтать. Когда автобус наконец тронулся, родители ушли. Отцовская рука лежала на маминых плечах, которые мелко тряслись.

Сосед Роланда протянул руку и представился:

– Я Кит Питман, и я собираюсь стать косметическим стоматологом.

Роланду уже приходилось обмениваться вежливыми рукопожатиями с взрослыми, в основном сослуживцами отца, но он еще ни разу не совершал такой же ритуал со своими сверстниками. Он сжал руку Кита и ответил:

– Роланд Бейнс.

Он уже отметил про себя, что этот дружелюбный мальчишка ростом был не выше него.

Прежде всего он испытал шок не из-за того, что оказался вдали от родителей, на расстоянии двух тысяч миль. Он поразился тому, как изменилось его представление о времени. Это произошло бы в любом случае. Это должно было произойти – переход во взрослое время с присущими ему обязательствами. Раньше он нежился в едва уловимом тумане событий, не думая об их последовательности, дрейфуя, в худших случаях, бредя наобум сквозь череду часов, дней и недель. Дни рождения и рождественские праздники были единственными настоящими вехами в потоке времени. Время было тем, что ты получал извне. Его родители руководили его течением дома, а в начальной школе все происходило в стенах одного класса и случайные перебои в рутине событий происходили по воле учителей, которые повсюду сопровождали тебя и даже брали за руку.

Здесь переход был жестокий и грубый. Новенькие младшеклассники должны были быстро научиться жить по часам, стать их рабами, предвосхищать их требования и расплачиваться за все свои промахи: выслушать нагоняй от раздраженного учителя, или остаться после урока, или на крайний случай получить «по мягкому месту». Когда надо встать и заправить постель, когда идти на завтрак, потом на общее собрание, потом на первый урок; заранее собрать все необходимое для пяти уроков, как следить за расписанием занятий или за разнообразными объявлениями и списками, в которых вполне могла оказаться и твоя фамилия; через каждые сорок пять минут переходить из одного класса в другой без задержек и не опаздывать на обед сразу после пятого урока; и следить, в какие дни проводятся спортивные состязания, где можно вешать и забирать свою сумку со школьной одеждой и когда отдавать ее в стирку; и когда надо возвращаться в класс после обеда в дни без спортивных мероприятий, и когда приходить в класс в субботу утром, и когда начиналась работа над внеклассным заданием и сколько времени тебе давалось на выполнение заданий по заучиванию или написанию текстов; и когда надо идти в душевую, и когда ложиться в кровать за пятнадцать минут до того, как в общежитии потушат свет, и когда бывают прачечные дни, и когда надо встать в очередь с ворохом грязной одежды и белья, который надо передать сестре-хозяйке: носки и нижнее белье в один день недели, рубашки, брюки и полотенца – в другой день; и когда верхнюю простыню на кровати надо перестелить вниз и для верхней простыни взять выстиранную, и когда надо идти на осмотр к врачу, который проверял то наличие вшей, то состояние ногтей и стрижку, у всех ли есть карманные деньги, и когда открыт школьный буфет.

Личные вещи полностью подчинялись времени, получая тираническую власть над своим владельцем. Вещи имели свойство беспричинно исчезать. Была масса вещей, которые ты либо терял, либо забывал принести в начале учебного дня: расписание уроков, учебник, вчерашнее внеклассное задание, задачник, вопросник, географические карты, исправную ручку, чернильницу, карандаш, транспортёр, угольник, компас, логарифмическую линейку. Если всю эту мелочь хранить в пенале, то можно было потерять пенал – и попасть в еще большие неприятности. Уроки физкультуры были отдельной пугающей темой. Дважды в неделю надо было приносить с собой физкультурную форму и носить ее из класса в класс. Учитель физкультуры мистер Эванс, валлиец, был тот еще вредина, который наказывал за опоздания и за недостаточную физическую подготовку и при этом любил издеваться – физически и морально. На первом же занятии он запустил большой палец Роланду в ухо за то, что тот не смог сесть на регбийном поле в правильной позе, скрестив ноги. Корчась от боли, он пытался принять верное положение, перебирая ногами по траве. В Ливии только ливийцы сидели на земле, каменистой, горячей и твердой. В спортзале жертвами физрука становились упитанные, слабые и неловкие. После той первой стычки с физруком Роланд старался не попадаться ему на глаза.

Время, которое было безграничной сферой, в которой он свободно перемещался в любом направлении, в одночасье стало узкой тропинкой в одну-единственную сторону, по которой он ходил вместе с новыми друзьями от одного урока к другому, неделю за неделей, пока оно не стало непреложной реальностью. Мальчики, чьего присутствия он поначалу так страшился,

оказались, как и он, обескураженными и дружелюбными. Ему нравились их теплые интонации кокни¹⁷. Они старались держаться вместе, кто-то плакал по ночам, кто-то мочился в кровать, и почти все отличались безудержным весельем. Никто ни над кем не подшучивал. После того как в общежитии тушили свет, они рассказывали друг другу страшные истории про привидения, или делились своими представлениями о мире, или хвастались своими отцами, причем, как он узнал позднее, часто несуществующими. Роланд слышал свой голос в темноте, который пытался – тщетно – в деталях воссоздать атмосферу эвакуации во время Суэцкого кризиса. Зато его рассказ про аварию на дороге имел успех. Он рассказал и про мотоциклиста, летящего навстречу верной смерти, и про ослепленную текущей со лба кровью женщину за рулем, про сирены «Скорой помощи», про приехавших полицейских и про окровавленные руки отца. В следующую ночь Роланд по просьбе всех снова воспроизвел свой рассказ. Так он приобрел некий статус – чего в его жизни никогда не было. Ему казалось, что он постепенно становится другим – тем, кого родители не узнают при встрече.

После обеда три раза в неделю все одноклассники Роланда обряжались в комбинезоны – это оказалось просто – и без присмотра преподавателей отправлялись играть в лес и на берег реки. Многие из того, о чем он читал в романах о Дженнингсе¹⁸ и о чем мечтал, живя в засушливой Ливии, наконец воплотилось в жизнь. Было такое впечатление, как будто они получали наставления из редакции журнала «Бойз оун»¹⁹. Они строили шалаши, лазали по деревьям, делали луки и стрелы, рыли ничем не укрепленные траншеи под землей и на спор совершали опасные марш-броски ползком на животе. А в четыре часа пополудни они уже снова сидели в классе. Причем пальцы, сжимавшие ручки-самописки, могли быть все еще вымазаны черной илистой грязью или зелеными пятнами от мокрой травы. Если в расписании стоял двойной урок математики или истории, было тяжело сидеть со слипающимися глазами аж девяносто минут кряду. Но зато в пятницу, когда последним уроком был английский, учитель вызывал всеобщий восторг, громко читая своим резким гнусавым голосом очередную главу из ковбойского романа «Шейн»²⁰. Это чтение продолжалось почти весь семестр.

Роланду потребовалось несколько недель, чтобы уяснить наконец, что большинство преподавателей пансиона совсем не свирепые и не злые. В своих черных одеяниях они только с виду казались такими. Большинство из них были вполне добродушными, а некоторые даже знали его имя, вернее фамилию. На характер многих оказала влияние их армейская служба во время войны. Хотя после окончания войны прошло уже целых четырнадцать лет – вся его жизнь плюс еще без малого четверть, – мировая война оставила в их жизнях неизгладимый след, оставаясь мрачной тенью, но и светлым пятном, источником доблести и смысла, тем же, чем для него была Ливия, вилла Джорджимпополи и ремонтные мастерские Гурджи на краю пустыни. Винтовка Ли-Энфилда 333, на спусковой крючок которой ему было позволено нажимать, принадлежала 7-й бронетанковой дивизии, больше известной по прозвищу «Крысы пустыни», и она, безусловно, убила немало немцев и итальянцев.

Здесь, в сельской глубинке графства Саффолк, и «Бернерс-холл», и принадлежавшая ему земля в 1939 году были реквизированы для нужд армии, а потом и флота. Оставшимися от них памятниками были разборные палатки казарм на опушке леса, сбегающего вниз по склону холма к речному берегу. Теперь в этих палатках проводили уроки латыни и математики. Совершив короткую прогулку по лесу, можно было выйти к бетонной дорожке, по которой к реке волокли или катили лодки. Неподалеку находилась деревянная пристань, выстроенная в годы

¹⁷ Кокни – говор лондонского простонародья.

¹⁸ Серия юмористических романов об английском школьнике Дженнингсе детского писателя Энтони Бакериджа (1912–2004).

¹⁹ Английский ежемесячный журнал для школьников, где содержались описания игр и внеклассных практических занятий (издавался с 1879 по 1967 г.).

²⁰ Вестерн американского писателя Джека Шефера (1949).

войны военными инженерами. Отсюда 6 августа 1944 года группа подкрепления численностью в тысячу солдат на сорока десантных плотках отплыла по реке Оруэлл в далекий переход к берегам Нормандии участвовать в освобождении Европы. Война продолжала жить в невыцветших буквах, выведенных краской на кирпичной стене школьного лазарета – «Деконтам-центр». Она продолжала жить во многих классных аудиториях, где дисциплина не насаждалась, а воспринималась как нечто само собой разумеющееся бывшими военнослужащими, которые сами некогда получали приказы в битве за великое дело. Подчинение воспринималось как данность. И никто не роптал.

Ужасный секрет Роланда раскрылся через две недели. Новеньких учеников отправляли группами в лазарет, и там они стояли, раздетые до трусов, сгрудившись в приемной и дожидаясь, когда их вызовут. Он назвал свое имя грозной сестре Хэммонд. Про нее говорили, что «с ней не забалуешь». Не ответив, она приказала ему встать на весы. Потом измерила его и осмотрела на предмет недоразвитости суставы, кости, уши и даже его еще не опустившиеся яички. Наконец сестра Хэммонд надела ему на глаз повязку и, развернув за плечи, заставила встать у черты на полу и смотреть на настенную доску с рядами букв, постепенно уменьшавшихся в размерах. Сейчас его, стоявшего почти голым, разоблачат. Его сердце бешено колотилось. Если прищуриться, это не поможет, ведь его правый глаз видел ничуть не лучше, чем левый, так что, какие бы буквы он наугад ни называл, все будет неправильно. Он не смог прочитать ни одной буквы ниже второго ряда. Не выказав ни малейшего удивления, сестра Хэммонд сделала у себя пометку и вызвала следующего мальчика.

Через десять дней после посещения ипсвичского окулиста его отправили из школы к нему и там вручили плотный коричневый конверт. Стояло теплое осеннее утро, на небе не было ни облачка. Он остановился под высоким дубом, чтобы перед тем, как вернуться в класс, проверить зрение. Сперва он огляделся по сторонам и удостоверился, что поблизости никого нет. Он вытащил из конверта футляр, открыл крышку на тугой пружине и вынул незнакомый предмет. В его руках он казался живым и вроде как сопротивлялся. Он широко расставил его дужки, поднес к лицу и взглянул сквозь стекла. Ему явилось чудо! От радости он даже вскрикнул. Огромный силуэт дуба чуть не выпрыгнул на него, словно из зеркала «Алисы в Стране чудес». Внезапно каждый листочек из тысяч, усеивавших ветви дуба, очертился, выявив поразительную четкость цвета и формы, и, посверкивая, трепетал на легком ветру, причем все эти листочки переливались тонкими оттенками красного, оранжевого, золотистого и бледно-желтого среди сплошной стены зелени на фоне сочного голубого неба. Это дерево, как и десятки других вокруг него, словно вобрало в себя все цвета радуги. Дуб выглядел замысловатым исполином, знающим себе цену. Он словно давал представление специально для Роланда, горделиво демонстрируя свою красоту и откровенно наслаждаясь собой.

Когда он в классе робко надел на нос очки, чтобы проверить, не вызовут ли они шквал насмешек и издевок, никто даже не заметил. А дома, во время рождественских каникул, когда средиземноморский горизонт привычно превратился в заостренный клинок, родители сделали несколько ничего не значивших ремарок. Он заметил, что многие люди вокруг него носят очки. Выходит, он два года беспокоился о ерунде и все воспринимал неправильно. Он навел фокус не только на вещный мир. Не только материальный мир обрел четкие очертания. Он впервые смог внимательно рассмотреть самого себя. Оказалось, что он особенный – и, более того, необычный.

И он был не один, кто так думал. Вернувшись через месяц в школу, он как-то получил задание отнести записку секретарю директора школы. Миссис Мэннинг на месте не оказалось. Подойдя к ее столу, он заметил раскрытую папку, а в ней на листе свою фамилию – вверх ногами. Он обошел вокруг стола и прочитал, что там написано. Рядом с квадратиком, в который были вписаны буквы IQ, стояло число 137, но это ни о чем ему не говорило. А ниже он прочитал: «Роланд – замкнутый мальчик». В коридоре раздались шаги, и он быстро вышел

из кабинета и вернулся к себе в класс. Замкнутый? Ему казалось, он знает, что это такое, ведь надо же быть с кем-то открытым. В свободное от учебы время он отправился в библиотеку и нашел толковый словарь. Он раскрыл его с тяжелым сердцем. Ему предстояло прочитать вынесенный взрослым человеком вердикт о том, кто он и что он такое. Близок только со своими знакомыми или членами своего сообщества. Предпочитает строить отношения со своими близкими. Он уставился на эти слова, и его недоумение только усилилось. С кем это он должен строить близкие отношения? С тем, кого он забыл или кого еще не встретил? Он так и не понял значение слова «замкнутый», которым выражалась тайна его характера, хотя при этом испытывал к нему особые чувства.

Во вторую неделю пребывания в пансионе он пошел на свой первый урок игры на фортепьяно в музыкальный корпус рядом с лазаретом. В предыдущие десять дней его жизнь состояла из незнакомых событий. И сейчас его ожидало очередное, так что он ни о чем не думал, сидя на табурете в комнате перед репетиционной и качая ногами. Для него это было что-то новое, но для него сейчас все здесь было в новинку. Звучания фортепьяно он не слышал. Только неясные голоса за дверью. Из репетиционной появился мальчик постарше него, закрыл за собой дверь и ушел. Наступила тишина, а потом послышались звуки гаммы откуда-то из дальней комнаты. Где-то еще дальше насвистывал рабочий.

Наконец дверь отворилась, показалось запястье в браслетах, и рука жестом пригласила его войти. Небольшая комнатка была наполнена парфюмерным ароматом мисс Корнелл. Она сидела на двухместной скамеечке спиной к инструменту, он встал перед ней, и она окинула его взглядом. На ней была черная юбка и кремовая шелковая блузка с высоким, застегнутым на все пуговицы воротом. Ее накрашенные темно-красной помадой губы были плотно сжаты, кончики слегка опущены вниз. Он подумал, что у нее очень строгий вид, и ощутил первую волну тревоги.

– Покажи мне руки, – сказала она.

Он протянул руки вперед, ладонями вниз. Она протянула свою и дотронулась до его пальцев и ногтей. Что необычно для его возраста, ногти у него всегда были коротко подстриженные и чистые. По примеру его отца, военного.

– Поверни их!

При виде кистей его рук она слегка отклонилась назад. Несколько секунд она молча смотрела ему прямо в глаза. И он тоже смотрел ей прямо в глаза – не потому, что отличался отвагой, а потому, что был перепуган и не смел отвести взгляд.

– Они отвратительны! Немедленно иди и вымой их. Да побыстрее.

Он не знал, где находился туалет, а просто ткнул первую попавшуюся дверь – и совершенно случайно оказался там, где надо. Потрескавшийся обмылок был грязный и скользкий. Она посылала сюда других мальчиков. Полотенца не было, поэтому он обтер руки о шорты. От журчания лившейся воды из крана ему захотелось писать, и это заняло еще какое-то время. Преследуемый суеверным чувством, что она за ним наблюдает, он снова вымыл руки и снова обтер их о шорты.

Когда он вернулся, она спросила:

– Ты где пропадал?

Он не ответил. И показал ей вымытые руки.

Она указала пальцем на его мокрые шорты. Ногти у нее были накрашены лаком того же цвета, что и губная помада.

– Ты обмочился, Роланд. Ты что, младенец?

– Нет, мисс.

– Тогда начнем. Иди сюда.

Он уселся рядом с ней на скамеечку, она показала ему клавишу ноты «до» в третьей октаве и попросила положить на нее большой палец правой руки. Потом показала, как выгля-

дит эта нота на нотном стане. Это была четвертная нота. Таких в этом такте было четыре, и ему надо было их сыграть так, чтобы у всех была одинаковая длительность. Он все еще был взволнован ее унижительным вопросом, не младенец ли он, и тем, что она называла его по имени. Он не слышал его с тех пор, как распрощался с родителями. Здесь он был Бейнс – и только. Когда он сегодня утром распаковал свежие носки, из них выпала конфета в обертке – его любимая ириска, которую в носки положила мама. Ириска сейчас лежала в кармане его шорт. На него нахлынула волна тоски по дому, но он ее тут же подавил, потому что надо было четыре раза сыграть ноту «до». Третья «до» прозвучала гораздо громче первых двух, а четвертая вообще едва слышно.

– Еще раз!

Он научился сохранять самообладание, избегая воспоминаний о том, как добры были с ним родители, особенно мама. Но сейчас он нащупал мамину ириску в своем кармане.

– По-моему, ты сказал, что уже не младенец. – Она протянула руку над крышкой фортепьяно, выдернула бумажную салфетку из стоявшей там коробки и вложила ему в ладонь. Он встревожился, что она снова назовет его Роландом, или скажет что-то ласковое, или тронет его за плечо.

Когда он высморкал нос, она забрала у него скомканную салфетку и бросила в мусорную корзину рядом со скамеечкой. Этот жест мог бы еще больше растравить ему душу, но, повернувшись к нему, она бросила:

– Скучаем по мамочке, да?

Ее сарказм сразу привел его в чувство.

– Нет, мисс.

– Хорошо. Тогда продолжим.

В конце урока она дала ему тетрадку для упражнений с нотными линейками. Его задание заключалось в том, чтобы заучить и вписать половинные, четвертные, восьмые и шестнадцатые ноты. На следующей неделе ему предстояло изобразить звучание этих нот хлопками в ладоши, и она показала ему, как это делается. Он встал перед ней навтыжку точно так же, как перед началом урока.

Даже при том, что она сидела, а он стоял, она была выше него. Она принялась равномерно выстукивать последовательность шестнадцатых нот, и исходящий от нее парфюмерный аромат усилился. Когда она перестала хлопать, он решил, что на этом урок закончен, и повернулся к двери. Но она подняла палец, приказывая ему остаться:

– Подойди поближе.

Он шагнул к ней.

– Только посмотри, на кого ты похож. Носки доходят только до щиколоток. – Она нагнулась и, не вставая со скамеечки, подтянула носки вверх. – Пойди к сестре-хозяйке и попроси ее заклеить пластырем ссадину на коленке.

– Да, мисс.

– А рубашка! – Она притянула его к себе, расстегнула застежку-змейку на ремне и верхнюю пуговицу шорт и заправила спереди и сзади края рубашки. Когда она поправляла узел на его галстук, ее лицо оказалось почти вплотную к его лицу, и ему пришлось опустить взгляд. Ему показалось, что и дыхание у нее исходит парфюмерный аромат. Ее руки действовали быстро и ловко. Но они не вызвали у него прилив тоски по дому – даже их последнее прикосновение, когда она пальцами убрала упавшую ему на глаза челку.

– Так-то лучше. А что теперь надо сказать?

Он пожал плечами.

– Ты должен сказать: «Спасибо, мисс Корнелл».

– Спасибо, мисс Корнелл.

Вот так все и началось – со страха, в котором он невольно должен был себе признаться, и с еще одного чувства, о чем он не мог даже думать. Он пришел к ней на второй урок с чистыми – или, вернее, более чистыми, чем раньше, – руками, но одетый так же неопрятно, хотя был ничуть не хуже других мальчиков в его классе. А про пластырь на коленку он и вовсе забыл. На сей раз она привела его одежду в порядок до занятий. Когда она расстегнула ему шорты, чтобы заправить рубашку, ее ладонь провела по его промежности. Но это вышло совершенно случайно. Он сделал внеклассное задание в нотной тетради и правильно изобразил хлопками длительность нот. Он хорошо подготовился к занятию, не из прилежания или желания ее порадовать, но из страха перед ней.

Он не смел ни пропустить, ни опоздать на ее урок или послушаться ее, когда она отсылала его вымыть руки, даже при том, что они были идеально чистые. Ему никогда не приходило в голову порасспрашивать других мальчиков, которые занимались с ней музыкой, как она обращалась с ними. Мисс Корнелл принадлежала его частному миру, существовавшему отдельно от его приятелей и школы. Она не проявляла к нему ни материнских чувств, ни особой любви и держалась с ним скорее отстраненно, а иногда и высокомерно. С того самого момента, как она начала безапелляционно оценивать его внешний вид, особенно когда расстегивала ему шорты и запускала руки внутрь, она заявила свои права на полный контроль над ним, психологический и физический, хотя после первых двух случаев она больше не позволяла себе сомнительных прикосновений к нему. Неделя за неделей она все крепче привязывала его к себе, и он ничего не мог с этим поделать. Это была школа, она была его учительницей, и ему приходилось делать то, что она ему говорила. Она могла его унижать и доводить до слез. Когда он после многократных попыток не справлялся с каким-то упражнением и осмеливался признаться, что не смог его подготовить, она обзывала его никчемной девчонкой. У нее дома было розовое платье с рюшами, принадлежавшее ее племяннице, так она принесла это платье на следующее занятие, заставила его надеть вместо своей одежды и так заниматься.

Всю следующую неделю он прожил в диком ужасе перед этим розовым платьем. Он не мог заснуть по ночам. Он даже подумывал сбежать из пансиона, но тогда ему бы пришлось объясняться с отцом, да и куда ему бежать. Только разве что к сводной сестре – но денег на поезд или автобус у него не было. И ему не хватало смелости пойти и утопиться в реке Оруэлл. Но когда наконец настал день вызывавшего у него ужас занятия, она ни словом не упомянула о розовом платье. Эта угроза миновала. А может быть, у мисс Корнелл и племянницы-то никакой не было.

Прошло восемь месяцев упорных упражнений, и он уже мог сыграть простенькую прелюдию. После щипка, удара линейкой, ее ладони у него на ляжке, а потом и поцелуя он стал заниматься в другом корпусе со старшим преподавателем музыки мистером Клэром. Это был добрый, знающий наставник, режиссер и дирижер школьной постановки «Волшебной флейты». Роланд помогал ему раскрашивать кулисы и готовить декорации. Открытка, которую обещала прислать мисс Корнелл, не пришла вовремя, и именно по этой причине, как он сам себе объяснил, он не поехал к ней домой на велосипеде к обеду в выходной день, хотя вовсе не забыл данные ею четкие наставления, как проехать к ее коттеджу. Он ощущал облегчение от того, что избавился от нее. Когда же он с двухдневным опозданием получил ее открытку с единственным словом «Запомни!» – он решил, что может выкинуть ее из головы.

Но он ошибся. Мириам Корнелл все чаще стала являться ему в возбуждающих грезах. Эти сочные фантазии безраздельно овладели его воображением, но не приносили ему никакого облегчения и не приводили ни к какому завершению. Его юное гладкое тело, с характерным для его возраста высоким певучим голосом и кротким детским взглядом, еще не было готово. Поначалу она входила в небольшое общество избранных – другими были девочки лет семнадцати-восемнадцати, добродушные, восхитительные в своей наготе, которых он помнил по фотографиям в маминых модных каталогах. Когда ему исполнилось тринадцать, мисс Кор-

нелл выдворила их всех из его памяти. На сцене театра его фантазий она осталась в гордом одиночестве и безразличным взглядом наблюдала за его первым в жизни оргазмом. Было три утра. Он встал с постели и отправился через всю спальню в туалет изучить, чем она наполнила его ладонь.

Ему казалось, что он сам ее выбрал, но очень скоро стало ясно, что без нее ему не было никакого облегчения. Это она его выбрала. В ходе немых драм, разыгрывавшихся в репетиционной, она притягивала его к себе. Часто он вновь воображал себе тот поцелуй, который был еще длительнее, еще вожаденнее – и это была только увертюра. Она полностью расстегивала его шорты, не только верхнюю пуговицу. А потом вдруг они оказывались в каком-то незнакомом месте – оба голые. Она показывала ему, что надо делать. У него никогда не было возможности сделать что-то иначе. Да он и не хотел. Она была спокойна и решительна, она пристально смотрела на него, и ее взгляд был полон нежности, даже восхищения.

Она, как зернышко, глубоко проникла в тонкую почву не только его души, но и его естества. Без нее он не мог испытать оргазма. Она была призраком, без которого он не мог жить.

Как-то учитель английского мистер Клейтон пришел в класс и объявил:

– Мальчики, я хочу поговорить с вами об онанизме.

Класс ошеломленно замер. Чтобы учитель сказанул *такое* – да быть этого не может!

– В этой связи хочу сказать вам только два слова. – Мистер Клейтон сделал эффектную паузу. – Получайте удовольствие!

И Роланд получал. Однажды, в особенно томительный воскресный день, он решил, что изгонит наконец призрак Мириам Корнелл, вызвав его раз шесть за шесть долгих часов. Чистый самообман. Ведь он точно знал, что она вернется. Но на полдня он от нее освободился, а потом вновь ее возжелал. Он был вынужден признать, что отныне она вместилась в особый уголок его фантазий и желаний, и хотел, чтобы она там так и осталась, в западне его мыслей, точно единорог на цепи в круглой клетке – как на знаменитом гобелене, репродукцию которого учитель рисования показывал классу. Единорогу не суждено ни освободиться от своей цепи, ни выйти из тесной клетки. Идя как-то по коридору из одного класса в другой, он заметил ее вдалеке, но постарался с ней не столкнуться. Отправляясь в долгие велосипедные поездки по полуострову, он тщательно выбирал маршруты подальше от ее деревушки. Он никогда бы не поехал повидаться с ней, даже если бы она серьезно заболела и, лежа на смертном одре, написала бы ему записку, умоляя ее навестить. Она представляла слишком большую опасность. Он не поехал бы с ней повидаться, даже если бы завтра наступил конец света.

3

Над всей Европой нависло облако самообмана. Западногерманское телевидение убеждало себя, что радиоактивные миазмы заразят не Запад, а только Советскую империю – словно в отместку. Представитель восточногерманского министерства сослался на американский заговор с целью уничтожения электростанций в странах народной демократии. Французское правительство, похоже, считало, что юго-западный край радиоактивного облака достиг французско-германской границы, которую оно не было вправе пересекать. Британские власти объявили, что нет никакого риска для населения страны, даже при том, что планировалось закрыть 4 тысячи ферм, запретить продажу 4,5 миллиона голов овец, утилизировать тонны сыра и вылить в канализацию море молока. Москва, не желая признавать аварию, позволила своим младенцам и детям беспрепятственно пить зараженное радиацией молоко. Но довольно скоро инстинкт самосохранения возобладал. У них не осталось выбора. С чрезвычайной ситуацией пришлось бороться, и утаить это было невозможно.

Роланд потерял благоразумие вместе со всеми. Вечерами, покуда Лоуренс спал, он заклеивал окна укрывной пленкой, чтобы защитить дом от проникновения воздуха извне. Но облако прошло мимо Лондона. Следы цезия-137 были обнаружены на пастбищах Уэльса, на северо-западе Англии и на Шотландском высокогорье, а он все заклеивал и заклеивал окна. Эта была долгая работа, потому что клейкая лента держалась, только если он полностью смывал всю пыль с оконных рам. Слишком низкая стремянка ходила под ним ходуном. И когда он на самой верхней ступеньке вставал на цыпочки, чтобы пройтись влажной тряпкой по верхнему краю рамы, лесенка начинала опасно качаться. Один раз, только успев вцепиться в карниз, он избежал неминуемого падения на спину. Он понимал, что его затея – чистое безумие. Так считала и Дафна, которая пыталась его отговорить. Другие и не думали обезопасить свои дома. Стояла теплая погода, и если в доме нельзя проветривать, то в этом нет ничего хорошего, да и для здоровья вредно. К тому же радиоактивная пыль отсутствовала. Словом, чистое безумие. И он это понимал. Но все обстоятельства его жизни сейчас были чистым безумием, поэтому он мог делать все, что ему заблагорассудится. И если он прекратит этим заниматься, то, следовательно, признает, что и до этого он все делал неправильно. Кроме того, страсть к порядку, унаследованная им от отца, предполагала: если что-то начал, надо закончить. Роланд в нынешнем состоянии мог бы впасть в депрессию, если бы стал ходить по дому и отдирать приклеенную вчера к рамам пленку. Ну и наконец, его воодушевляло стремление не верить ни одному утверждению властей. Если они уверяли, что облако ушло в северо-западном направлении, значит, оно отклонилось к юго-востоку. Коль скоро они изолировали такие гигантские стада овец, значит, надо держать уши остро. И он был готов стать одиноким воином в поле. Он питался только консервами, внимательно изучив выбитые на банках даты производства. Никаких консервов, выпущенных в конце апреля. Лоуренс составлял ему компанию, начав есть твердую пищу. Его молочная смесь разводилась лучшей родниковой водой, бутилированной до черныбыльских событий. Вместе они непременно выживут.

Это было не очень легко – притворяться безумным. Внешне он вел себя вполне нормально, заботясь о ребенке и играя с ним, закупаая бутилированную воду, умело справляясь с домашними делами, беседуя по телефону с друзьями. Когда Роланд снова позвонил Дафне – он сильно стал зависеть от нее в эти несколько недель после исчезновения Алисы, – трубку взял Питер. Роланд стал излагать ему свою теорию о том, что черныбыльская катастрофа станет началом конца эры ядерного оружия. Представь себе, что НАТО применило тактический ядерный заряд против Украины с целью упредить танковый бросок России – мол, смотрите, как мы все пострадали, будучи зараженными от Дублина до Урала, от Финляндии до Ломбардии. Ответный удар. Ядерный арсенал в военном смысле бесполезен. Роланд повысил голос –

еще один знак того, что он был не в себе. Питер Маунт, в то время сотрудник национальной системы энергосетей и кое-что понимавший в распределении энергии, задумался на мгновение и ответил, что бесполезность еще никогда не мешала развязывать войны.

Несколько лет тому назад Питер провел для Роланда экскурсию по своему месту работы – центральному управлению по производству электроэнергии. Его внешний рубеж напоминал военную базу: забор с пропущенным по нему током, двойной шлагбаум на электронном управлении, два охранника с каменными лицами, внимательно сверявшие удостоверение личности Роланда со списком допущенных на территорию посетителей. А внутри центр выглядел как плохая копия центра управления космическими полетами НАСА в Хьюстоне: молчаливые операторы за консолями, батарея датчиков и дисков с цифрами, большой экран на высокой стене. Здесь основным занятием сотрудников была координация спроса и предложения.

Экскурсия оказалась скучной. Роланд, который мало интересовался управлением энергопотребления в стране, с трудом старался сделать вид, что ему интересно. Его вовсе не воодушевляла, как Питера, перспектива того, что в один прекрасный день всем тут будут заправлять компьютеры. Одно запомнившееся ему событие произошло ранним вечером. Телевизионные экраны, установленные высоко на стене центра управления, были настроены на канал, где показывали популярную мыльную оперу «Коронейшен-стрит». Кто-то громко разговаривал по телефону по-французски с сильным английским акцентом. Потом настала рекламная пауза, и голос за кадром начал декламировать обратный отсчет от десяти до того момента, когда миллионы людей вскочили со своих диванов и включили в сеть электрические чайники. Пуск! Две руки, лежащие на тяжелом черном рычаге, опустили его вниз. И мегаватты энергии понеслись со скоростью света по проложенным по дну Ла-Манша кабелям, купленным у ничего не понимающих французов, – и при чем тут Коронейшен-стрит? И зачем нужно было показывать электрический чайник? Безусловно, самым важным элементом в этой рекламе был черный рычаг, который кто-то дернул. Но Роланду потом пришлось так часто пересказывать сюжет этой рекламы, что он даже стал верить в точность своей версии.

Вторая половина дня напомнила ему школьную экскурсию. В конце они зашли в ярко освещенную флуоресцентным светом столовую. Питер, несколько его коллег и Роланд сели за блестящий пластиковый столик, все еще влажный от тряпки официантки. Разговор зашел о продаже распределяемой электроэнергии частным компаниям. Общее мнение: этим все должно было кончиться. Нужно же делать деньги, и серьезные. Но и эта тема Роланда не интересовала. Он притворился, будто внимательно слушает, а сам вспоминал школьную поездку на ипсвичский завод по производству бекона – ему тогда было одиннадцать лет, и это произошло вскоре после того, как он не поехал на обед в дом Мириам Корнелл.

Ему было интересно посмотреть, что стало со свиньями, которых он кормил в хлеву клуба молодых фермеров. Ужас, в какую рань приходилось тогда вставать – в полшестого утра! Да еще тащить с приятелем по имени Ганс Солиш два тяжелых ведра с месивом для свиной – мясные обрезки в сладком яблочном отваре – со школьной кухни до самого свинарника. Непросто было ему волочь эту тяжесть в таком юном возрасте, да еще и сырым осенним утром до рассвета, а потом разводить огонь под огромным железным чаном и, вывалив туда месиво из ведер, разогревать. Когда варево становилось теплым и по всему хлеву от него распространялся запах, свиньи в загонах приходили в неистовство. Мальчики забирались к ним в загон, заносили туда горячее месиво, снова перелив его в ведра, и свиньи бегали вокруг, наступая копытцами им на ноги. Самое трудное было налить месиво в корыта так, чтобы голодные свиньи не сбили их с ног.

Потом на ипсвичском беконном заводе, как вот сейчас в центре управления у Питера, он тоже сидел с другими за пластиковым столиком в тамошней столовке. Маленького Роланда настолько ужаснуло увиденное на заводе, что он отказывался есть и пить. Апельсиновый сок в бумажных стаканчиках пах свинными кишками. Он видел смертоубийство и потоки крови,

словно в кошмарном сне. Визжащие жертвы беспорядочно выбегали из кузова грузовика и в панике неслись по бетонному пандусу навстречу мужчинам в резиновых фартуках и резиновых сапогах, стоявшим по колено в крови с электрошокерами в руках, потом в воздухе мелькали лезвия ножей, рассекавших свиньям шеи, и потом голые туши на цепях с крючьями, захватывавшими туши за лодыжки, быстро перемещались к массивным дверям, которые то и дело распахивались, и из них вырывались белые языки пламени, опалявшие свиные трупы, после чего те падали в кипящую воду, оказываясь на гигантских вращавшихся барабанах со стальными зубьями и зловеще скрипящими лопастями, и вот уже свиные головы с остекленевшими глазами и открытыми пастьми укладывались штабелями, а из наклоненных чанов вываливались блестящие кишки и стекали по крутым жестяным желобам к рокочущим мясорубкам, в которых свиная требуха превращалась в собачий корм.

Производство электроэнергии было куда более чистоплотным делом. Но и оно оставило зарубку в его памяти. После того как Роланд отъехал на автобусе от беконного завода, он года три не мог есть мяса. Для школы 1959 года это была не слишком подходящая диета. Директор пансиона даже направил его родителям письмо с жалобой. Капитану, который никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то отказывался есть мясо, не понравился брюзгливый тон письма, и он поддержал сына. Значит, его надо обеспечить альтернативным питанием.

И всякий раз, беря электрический чайник – вот как сейчас, – Роланд думал о двух руках, реальных или воображаемых, которые дергали рычаг ради баланса спроса и предложения энергии и ради волшебного удобства потребителя. Повседневная жизнь города, которому нужно многое – от чая и яичницы с беконом до карет «Скорой помощи», – обеспечивалась работой незримых систем, опытом, традициями, сетями, усилиями многих людей и прибылью.

Частью этих систем была и почтовая служба, которая доставила ему пятую открытку от Алисы. Открытка лежала картинкой вверх на кухонном столе рядом с букетом тюльпанов. Было одиннадцать вечера. Он как раз законопатил последнее окно и установил временную перегородку перед задней дверью в сад. Радио бормотало новости – фермеры протестовали против наложенных ограничений на их стада. Роланд пил чай, потому что отказался от алкоголя. Это было импульсивное и легкое решение, отчасти спровоцированное звонком детектива-инспектора Брауна. Освобождение! Чтобы отметить это событие, он вылил полторы бутылки виски в раковину.

Детектив сообщил ему, что в день исчезновения имя Алисы было обнаружено в списке пассажиров без машин на борту парома, отправившегося в 17:15 из Дувра в Кале. Она переночевала в Кале в отеле «Тийёль»²¹ недалеко от железнодорожного вокзала. Они с Роландом бывали там вместе несколько раз и сидели со стаканом в руке в неопрятном узком садике перед зданием, где два лаймовых дерева с трудом ловили солнечный свет. Им нравилось останавливаться в подобных непритязательных недорогих заведениях со скрипучими полами, старенькой мебелью и текущим душем за древними пластиковыми занавесками. В ресторанчике на первом этаже подавали комплексный обед за тридцать четыре франка. Эти разрозненные факты крепко запали ему в память. Долговязый официант с впалыми щеками и седыми бакенбардами, обрамлявшими скулы, разносил посетителям серебристые тарелки с супом. Он продлевал это с элегантным достоинством. Картофельно-луковый суп. Затем рыба-гриль, восковая вареная картофелина, половинка лимона, белая тарелка с салатом и литр красного вина в бутылке без этикетки. На десерт сыр или фрукты. Это было за год до их женитьбы. В номере они занимались любовью на узкой пружинистой кровати. Алиса поступила плохо, поселившись там без него. Испытав укол ностальгии, он остро ощутил свое одиночество. Он воспринял тот отель как ее любовника и заревновал. Но, возможно, она там была вовсе и не одна.

²¹ В переводе с французского *tilleuls* – «липы». Здесь имеется в виду «в сени липовых деревьев». – *Прим. ред.*

Возникшая в Наполеоновскую эпоху параноидальная централизованная система регистрации и учета всех посетителей отелей существовала до сих пор. В последующие две ночи, сообщил ему Браун, она остановилась в Париже в отеле «Ля Луизиан» на рю де Сен в шестом округе. И этот отель был им тоже прекрасно известен. Очередное заведение, отличающееся дешевизной. После Парижа Алиса провела ночь в отеле «Терминус» в Страсбурге. Чем он ей так приглянулся, бог его знает. Где она остановилась в Мюнхене, сведений не было. В Западной Германии постояльцами отелей интересовались гораздо меньше, чем во Франции.

Далекий голос Брауна звучал приглушенно. В трубке слышалось бормотание других голосов, стук пишущей машинки и – несколько раз – кошачье мяуканье.

– Ваша жена просто путешествует по Европе. По собственной воле. У нас нет оснований полагать, что ей грозит опасность. На данный момент это все, что у нас есть.

У Роланда не было никакого резона упоминать про ее последнюю открытку. Это дело касалось только его и больше никого, как было ясно с самого начала. Он попытался получить у детектива извинения.

– Вы же теперь не думаете, что я сам написал эти открытки. И не думаете, что я ее убил.

– Судя по всему, нет.

– Я благодарен вам за все, инспектор. Вы вернете мне вещи, которые забрали?

– Я попрошу их вам забросить.

– И фотографии моей записной книжки.

– Да.

– И негативы.

Голос прозвучал устало.

– Мы сделаем все, что сможем, мистер Бейнс.

Браун положил трубку.

Роланд обхватил чумазыми пальцами теплую кружку с чаем. Настенные часы показывали 11:05. Уже поздно звонить Дафне и обсуждать с ней последнюю открытку Алисы. Лоуренс проснется через час. Лучше пойти и принять душ. Но он не шевельнулся. Он взял открытку и снова уставился на неестественно сочную цветную фотографию горного луга с Баварскими Альпами на заднем плане. Полевые цветы, пасущиеся овцы. Недалеко от ее родных мест. Он сразу вспомнил, как в вечерних новостях валлийский фермер уверял, что горожанам не дано понять узы нежной любви, которые связывают его и его жену с их овцами и ягнятами. Но, как бы там ни было, столь обожаемые ими ягнята все равно в конце концов заканчивали свои дни на скотобойне вроде испсвичского беконного завода. Такая вот гуманная справедливость. Быть обрекаемым на забвение теми, кто тебя любит. Той, кто уверяет, что все еще любит тебя.

«Дорогой Роланд! Быть вдаль от вас обоих – физическое страдание. Поверь мне. Глубокая рана. Но я твердо знаю, что мстительство меня бы погубило. А ведь мы уже обсуждали второго. Лучше уж перестрадать сейчас, чем потом долго страдать от растрепанных чувств и ожесточения. Мой единственный путь, моя жизненная стезя теперь яснее ясного. Сегодня добрые люди в Мурнау позволили мне провести час в моей детской комнате. Скоро я отправлюсь на север, к родителям. Пожалуйста, не звони им. Прости меня, любовь моя. А.».

В состязании страданий она всегда старалась быть первой. Даже после нескольких прочтений его глаза спотыкались о сокращения слов. Под текстом оставалось еще достаточно места вдоль зазубренного края открытки. Достаточно, чтобы полностью написать слово «материнство». Приехав в рыночный городок Мурнау и оказавшись в своей детской комнатке, приткнувшейся под покатой крышей дома, она глядела из окошка на оранжевые черепичные кровли, убегающие к озеру Штафельзее, и размышляла о прожитых тридцати восемью годами и внезапной перемене, о своем освобождении от бремени повседневности, о печальном чуде появления Лоуренса и о столь обыденном факте, как наличие не слишком гениального мужа. Но что еще за ее «стезя»? Подобное слово не в ее духе. Она не верила в предначертание судьбы,

что как раз и предполагало свою «стезю». И она не была религиозна, даже в минимальной степени. Она была, во всяком случае когда-то, хорошо знающей свой предмет преподавательницей немецкого языка и литературы, ценившей Лейбница, братьев Гумбольдт и Гёте. Он вспомнил ее год назад, когда она выздоравливала от гриппа и, лежа в постели, читала написанную немецким автором биографию Вольтера. По натуре она была благодушным скептиком. Она терпеть не могла новомодные культы «Эры Водолея». Никакой гуру на смог бы стерпеть ее склонность к добродушным насмешкам. Если она провела час в спальне своего детства, где когда-то спала с плюшевым мишкой, теперь лежавшим в колыбельке Лоуренса, значит, ее стезя бежала напрямиком в ее прошлое.

И если она ехала на север, чтобы повидаться с родителями, то это служило лишним подтверждением верности его догадки. Отношения между родителями и дочерью были очень непростыми. Они часто ссорились. Не видясь по полгода, они действовали друг другу на нервы одним своим присутствием. Даже несмотря на то, что они были близки, или благодаря этому. В последний раз они с Алисой, которая была на четвертом месяце беременности, ездили в Либенау в апреле 1985 года. Они приехали сообщить ее родителям радостную новость. Ссора вспыхнула на кухне, после ужина, короткая, но шумная. Джейн и ее единственная дочь мыли посуду. Причиной ссоры стали чистые тарелки, которые надо было расставить на полках в буфете. Генрих и Роланд в гостинной пили бренди. В этом доме мужчины были отлучены от любых домашних забот. Когда говорившие по-немецки голоса на повышенных тонах наконец взорвались, перейдя на английский, родной язык матери, тесть Роланда бросил на него многозначительный взгляд и, пожав плечами – мол, а я что могу сделать? – скривился.

Но истинная причина размолвки всплыла утром за завтраком. Как четыре месяца? А почему Джейн стала последней, кто об этом узнал, после всех их лондонских знакомых? И как смела Алиса выйти замуж, не позвав на свадьбу родителей? Так-то ты относишься к тем, кто тебя любил и заботился о тебе? Алиса могла бы сказать матери, что ребенок, которого она носила под сердцем, был зачат в спальне этого дома. Вместо этого она моментально пришла в ярость. А какая разница? Почему мать просто не порадует, что у нее такой замечательный зять, а скоро еще будет и внук? Почему она не испытывает благодарности за то, что она с Роландом приехала сообщить ей лично эту новость? Ей надо вернуться в школу к утру понедельника. Алиса с яростным нажимом произнесла фразу, описывающую ее ближайшие планы. Кстати, частично ее маршрут совпадал с маршрутом поездок Роланда в его старую школу-пансион. Из Лондона в Харвич, потом паром до Хук-ван-Холланда, далее в Ганновер – и сюда. Поездка была утомительная и недешевая. Она настроилась на радушный прием в родительском доме. Но напрасно она надеялась! Немецкий Роланда был вполне сносный, чтобы понимать, о чем они говорят, но не настолько, чтобы попытаться их утихомирить. Это сделал Генрих, который, как уже бывало раньше, внезапно отрезал: «*Genug!*» («Хватит!») Алиса встала из-за стола и выбежала в сад, остыть. За завтраком на следующее утро царил молчание.

Если сейчас она находилась в аккуратном доме из кирпича и дерева, стоявшего посреди небольшого сада, на то у нее, безусловно, была особая причина. Если она приехала сообщить родителям, что решила бросить ребенка и мужа, то разгорелся бы такой скандал, какого еще никогда не было.

* * *

Джейн Фармер родилась в Хейвордс-Хите в 1920 году, оба ее родителя преподавали в школе иностранные языки. После средней школы, где она с блеском выучила французский и немецкий, окончила курсы секретарей – вопрос же о получении университетского образования «никогда даже не вставал». На машинке она печатала со скоростью девяносто слов

в минуту. В начале войны она работала в машбюро Министерства информации и снимала крошечную неотапливаемую квартирку в Холборне на пару со школьной подружкой. Под влиянием этой подружки, которая уже в шестидесятые годы стала одним из руководителей Кортолдского института искусств, Джейн пристрастилась к современной поэзии и прозе. Вместе они ходили на вечера поэзии и даже затеяли дискуссионный клуб любителей книги, который просуществовал почти два года. Джейн сочиняла короткие рассказы и стихотворения, ни одно из которых не взял ни один литературный журнальчик, что продолжали выходить даже в годы войны. Она продолжала работать секретаршей в разных министерствах и заводила романы с мужчинами, которые, как и она, имели литературные амбиции. Никто из них не пробился.

В 1943 году она откликнулась на газетное объявление о поиске машинистки на неполный рабочий день в журнал «Хорайзон», редактировавшийся знаменитым Сирилом Коннолли. Она выходила на четыре часа в неделю. Потом она рассказывала зятю, что ее усадили в глухом закутке и поручили печатать скучнейшие письма. Она не отличалась красотой, не имела нужных связей и не была столь же общительной, как многие молодые женщины, появлявшиеся в редакции. Ничего удивительного, что Коннолли ее практически не замечал, но однажды ей довелось оказаться среди литературных корифеев. Она видела, или ей померещилось, что она видела, Джорджа Оруэлла, Олдоса Хаксли и женщину, которая вполне могла быть Вирджинией Вулф. Но насколько было известно Роланду, Вулф к тому моменту уже два года как умерла, а Хаксли давно жил в Калифорнии. Впрочем, была одна гламурная личность из аристократических кругов, которая тогда точно находилась в Лондоне и у кого возник дружеский интерес к Джейн, так что она даже передала ей пару ненужных платьев. Это была Кларисса Спенсер-Черчилль, племянница сэра Уинстона. Позднее она вышла замуж за Энтони Идена, еще до того, как он стал премьер-министром. В 1956 году она сделала ставшее знаменитым замечание, что, мол, были времена, когда казалось, что Суэцкий канал протекает по ее гостиной. Потом Кларисса исчезла в водовороте светской жизни. Еще Джейн помнила Соню Браунелл, которая вышла за Оруэлла, – та всегда была доброй душой. Она дала Джейн две книги на рецензию, но так и не напечатала ни одной.

Джейн оставалась на задворках журнала «Хорайзон», приходя туда дважды в неделю после рабочего дня в Министерстве труда. Но в конечном итоге журнал сыграл свою роль в ее судьбе. Когда закончилась война, ее литературные амбиции определились. Ей хотелось путешествовать по Европе и «писать репортажи». Как-то она подслушала слова Стивена Спендера, рассуждавшего о «Белой розе», группе отважных студентов Мюнхенского университета, боровшихся против нацизма. Это было ненасильственное движение молодых интеллектуалов, которые тайно распространяли брошюры и листовки, перечислявшие и осуждавшие преступления режима, в том числе массовое истребление евреев. В начале февраля 1943 года основные активисты движения были арестованы гестапо, преданы «народному суду» и казнены. Весной 1946 года Джейн удалось на пять минут привлечь внимание Коннолли. Она предложила отправить ее в командировку в Мюнхен, чтобы найти там уцелевших участников движения и взять у них интервью. Они ведь олицетворяли лучшее, что было в Германии, и ее будущее.

В момент основания «Хорайзон», в конце 1939 года, его редактор имел эстетский взгляд на войну. Самым большим проявлением пренебрежительного отношения к войне было не поддаться всеобщему безумию момента, стоять в стороне и продолжать отстаивать лучшие традиции литературы и литературной критики цивилизованного мира. Но война продолжалась, и Коннолли убедился в важности серьезного участия, в горячих репортажах – предпочтительно с линии фронта, где бы она ни проходила. Он отнесся к идее Джейн весьма благосклонно и с энтузиазмом и даже предложил ей покрыть расходы на поездку, выдав ей 20 фунтов из бюджета журнала. Это было щедро. Но в голове у него созрела идея еще одного проекта. Он хотел, чтобы она, когда закончит в Мюнхене, пересекла Альпы и заскочила в Ломбардию, где могла бы написать репортаж о местных гастрономических и винных предпочтениях. Война превратила

британскую кухню – и без того позорную – в нечто совершенно ужасное. А теперь настала пора подумать над тем, как бы перенять солнечные кулинарные традиции Южной Европы. Еще до окончания войны он отправился в Париж, остановился во вновь открывшемся британском посольстве и сполна насладился местной едой. А теперь ему захотелось побольше узнать о сельской пище, о спиедо брешиано, оссо буко, полента э учелли²² и о винах Брешии. И он выдал Джейн 20-фунтовую банкноту, выудив ее из жестяной коробки с мелочью. Задание, которому было суждено изменить жизнь Джейн Фармер и начать жизнь Алисы, было обговорено в считанные минуты, после чего Сирил Коннолли поспешил на обед с Нэнси Кунард в отеле «Савой».

Двадцатишестилетняя Джейн Фармер покинула Англию в начале сентября 1946 года, имея в кармане 125 фунтов, половину из них в американских долларах, хитроумно спрятанных ею в чемодане и на себе. Коннолли выдал ей письмо на бланке «Хорайзона», в котором именовал ее «внештатным европейским корреспондентом» журнала. Летом 1984 года во время первого посещения Либенау Роланд сидел с ней в саду. До этого они весь день проговорили о литературе, и она поставила на столик старенькую картонную коробку. Джейн показала ему пожелтевшее письмо на бланке журнала с подписью самого Коннолли. Коннолли и Браунелл ей немало посодействовали. Они, вероятно, симпатизировали офисной машинистке, которую кто-то называл «Простушка Джейн». Через своего знакомого, бывшего сотрудника британской разведки МИ-6 Малькольма Маггериджа, Браунелл раздобыла фамилии и мюнхенские адреса троих людей, которые могли хоть что-то знать о «Белой розе». А знакомые Коннолли дали Джейн с собой пару рекомендательных писем для офицеров британской военной администрации, которые могли бы ей помочь, попади она в неприятности при пересечении французской территории. Кроме того, для ее поездки собрали деньги где только можно. Кунард, которая всегда чтит активистов Сопротивления, расщедрилась на 30 фунтов. Артур Кёстлер передал ей с оказией 5 фунтов. Несколько постоянных авторов «Хорайзона» отсчитали по 10-шиллинговой банкноте. Большинство кидало по полкроны или по двухшиллинговой монетке в коробку с надписью «Белая роза», стоявшую в редакции. Джейн воспользовалась также 50 фунтами, доставшимися ей в наследство от дяди. И она подозревала, что отданные ей Соней 5 фунтов были взносом от Оруэлла. Тем летним вечером в Либенау, показав Роланду письмо Коннолли, Джейн вынула из коробки свои семь дневников. В них она постаралась передать то ощущение свободы, которое сопровождало ее во время того путешествия из Лондона в Мюнхен через Париж и Штутгарт, ставшего самым восхитительным событием в ее жизни. Она была не послушной дочерью своих родителей, не скромной офисной служащей, не презираемой простушкой и глупышкой, притулившейся в углу редакции, и пока еще не преданной женой. Впервые в ее жизни она сделала серьезный выбор, сама придумала для себя миссию и отправилась на поиски приключений. Она не нуждалась ни в чьей заботе. Она целиком полагалась на свой ум и собиралась стать писателем.

Проведя три недели во Франции, она, к своему удивлению, в случайной беседе получила приглашение на ужин в офицерской столовой около Суассона. Она уговорила упрямого сержанта-валлийца позволить ей проехать в кабине его грузовика последние тридцать миль до немецкой границы. Она отвергала фривольные приставания военных и гражданских. А американский лейтенант, с кем у нее возник короткий роман, довез ее от Мюнхена до Штутгарта в своем джипе. В школе она овладела азами французского и немецкого, а вскоре уже свободно говорила на обоих языках. «Я стала самой собой! – сказала она Роланду. – А потом потеряла себя!»

Эти дневники были ее тайной. Генрих о них не знал. Но Роланд, если бы захотел, мог показать их Алисе. Джейн оставила его в саду одного, а сама пошла в дом готовить ужин.

²² Фирменные блюда итальянского города Брешиа: спиедо брешиано – жаренные на шпаях куски мяса и картофеля; оссо буко – томленая говядья голяшка; полента э учелли – кукурузная каша с тушеной дичью.

Первая страница первого дневника, исписанная каллиграфическим почерком, сообщала, что 4 сентября 1946 года она поехала третьим классом на вновь пущенном экспрессе «Золотая стрела» из Лондона в Дувр, а затем на французской версии экспресса «Флеш д'Ор» из Кале в Париж. Если она и смотрела на лица пассажиров или выглядывала из окна вагона на бескрайние пейзажи освобожденной Пикардии, в дневнике она не оставила об этом никаких записей. Она возобновила дневник в Париже.

«Местами замызганный, а местами шикарный город. Поразительно: никаких следов разрушений. Магазины безлюдны». Она усердно упражнялась в журналистских навыках, описывая свой крошечный отель в Латинском квартале и его *propriétaire*²³, драку перед булочной, группку снова появившихся в городе американских туристов, которым оказали чрезвычайно холодный прием в местной табачной лавке. Она стала свидетельницей препирательств между офицером британского флота, хорошо говорившим по-французски, и типом «с внешностью французского интеллектуала». Далее шло изложение их позиций. Офицер, слегка пьяный: «Только не говорите мне, на чьей стороне воевала Франция! Ваши сражались и убивали наших солдат в Сирии, Ираке и в Северной Африке. Ваши военные корабли что-то не вышли из Мер-эль-Кебира в Портсмут, чтобы соединиться там с нашим флотом, поэтому мы и были вынуждены их атаковать. А теперь мы еще узнаем, что ваши жандармы здесь, в Париже, конвоировали три тысячи французских детей на Восточный вокзал, откуда их повезли в лагеря смерти. А все потому, что они, как оказалось, евреи». Седоватый интеллектуал, тоже слегка пьяный: «Говорите тише, месье. Вас могут убить за такие слова. Ваша версия событий ошибочна. Эти корабли остались бы верны Франции. Потом, когда немцы попытались захватить наши корабли в Тулоне, мы их первые потопили. Мой зять был до смерти замучен в гестапо. Они убили почти всех жителей деревни рядом с моим родным городом. А бойцы «Свободной Франции» сражались бок о бок с вами, и сражались мужественно. Тысячи французов погибли в ходе освобождения от снарядов, выпущенных с ваших кораблей. Движение Сопротивления воплощало истинный дух Франции!» При этих словах все присутствующие в баре завопили: «*Vive la France!*» А я продолжала записывать, притворившись, будто ничего не слышала».

Она разрешила Роланду взять дневники на ночь. Он читал их после ужина, а потом перед сном, когда они легли рядом в кровати, Алиса начала читать первый, а он к этому времени уже дочитывал эпизод с «очень занятой» вечеринкой с британскими офицерами в Суассоне, «в чудесном доме с парком и озером». Больше всего Роланда поразила доверительная интонация и точность ее прозы. Больше того, она явно обладала даром блистательных и довольно смелых описаний. Полторы страницы, посвященные ее роману с американским лейтенантом Бернардом Шиффом, удивили его. Джейн Фармер писала, что никогда в жизни не встречала столь щедрого на ласки любовника, «столь экстравагантно старающегося доставить женщине удовольствие», что сильно отличало его от знакомых ей английских мужчин, которых интересовало лишь поспешное «туда-сюда». Ни на секунду не забывая о том, что родители его жены находятся за этой тонкой стенкой, он шепотом читал описание орального секса Джейн с Шиффом. Алиса сказала ему шепотом: «Она, скорее всего, забыла об этом. Она бы умерла от мысли, что я это могу прочесть».

Два дня спустя они оба прочли мюнхенские дневники от начала до конца. Перед обедом они пошли прогуляться по Либенау, вдоль набережной Гросе-Ауэ до замка. Алиса пребывала в возбужденном состоянии, не в силах забыть прочитанное, которое ее немного смутило, если не сказать покорило. Почему мать никогда не упоминала об этих дневниках? Почему она дала их прочитать Роланду, а не ей? Джейн следует их опубликовать. Но она не посмеет. Генрих никогда ей этого не позволит. Внутри семьи «Белая роза» была его собственностью, хотя помимо него было еще немало уцелевших. Он давал интервью нескольким ученым, историкам,

²³ Хозяин (фр.).

журналистам. Он не был важным деятелем движения и никогда не делал вид, что был. С ним консультировались, когда решили поставить фильм о тех событиях. Но увидев, что получилось в итоге, он был крайне разочарован. Им не удалось отобразить реальные события и реальных людей. «Шолли, Ганс и Софи, они были совсем не такие, они и выглядели совершенно иначе!» Он так сказал, хотя и признался, что едва был с ними знаком. Газетные статьи, научные эссе, книги, которые стали затем выходить, его также не радовали. «Их там не было, откуда им знать. Страх! Теперь это все стало историей – это уже не настоящее. Все это только слова. Они не понимают, как молоды мы были. Им не понять наших чувств тогда. Сегодняшние журналисты все сплошь атеисты. Они не желают вникать в то, насколько сильна была в нас религиозная вера».

Ни одно описание «Белой розы» его не удовлетворяло. И дело было не в точности деталей. Ему было больно сознавать – то, что для них было живым переживанием, теперь превратилось в голую идею, в туманное представление, возникшее в сознании чужих людей. Ничто не могло соответствовать его воспоминаниям. Даже если дневники его жены и были способны вновь оживить далекое прошлое, они грозили отвести ему неправильную роль в тех событиях – так считала Алиса, и Роланд полагал, что она права. Ее отец был упрямец с допотопными взглядами. Как это так? Джейн – независимая женщина, колесившая по Франции и Германии и занимавшаяся сексом с первыми встречными! Опубликовать дневники, пускай даже в маленьком частном издательстве, – это просто немыслимо! Джейн никогда не пошла бы наперекор его воле. Она сделала лишь одну мятежную уступку – разрешила дочери и Роланду тайком сделать фотокопию дневников и взять их с собой в Лондон. Тоже своего рода публикация. Накануне отъезда они нашли типографию в Нинбурге и провели там целый день, дожидаясь, пока медленная, то и дело запинаящаяся машина снимет копии со всех страниц дневников. Они спрятали получившиеся 590 страниц в пакете для покупок. Когда они возвращались по набережной с этим пакетом, Алиса рассказывала Роланду об отце. Это был семидесятилетний добряк, с устоявшимися консервативными взглядами. Его воспоминания о движении «Белая роза» и его мнение о нем были непоколебимыми. И он не хотел их усложнять. Что же до орального секса – при мысли об отце, набожном и правоверном христианине, читающем об энергичных упражнениях какого-то лейтенанта сорок лет назад, Алиса разразилась таким безудержным хохотом, что ей пришлось даже привалиться к дереву.

Роланд вспомнил про их прогулку по Либенау, когда поднял с кухонного стола открытку и пошел наверх принять душ. Да, в то лето 1984 года, после того как Алиса прочитала дневники матери, у нее возникло странное, быстро менявшееся настроение. Поначалу они подробно обсуждали дневники, а потом тема сама собой забылась. Зимой они переехали в Клэпхем²⁴, вот-вот должен был родиться ребенок, Дафна и Питер ожидали своего третьего, и оба, предвкушая пополнение семейства, тогда много общались – повседневные заботы заставили их позабыть обо всем постороннем. А полузабытая фотокопия дневников была завернута в газету и убрана в ящик комода в спальне.

Подойдя к лестнице, он остановился и прислушался. Лоуренс не издавал ни звука. В спальне он сунул грязную одежду в корзину для грязного белья. Радиоактивная одежда, собравшая всю чернобыльскую пыль. Он почти уже верил в это. Он стоял в ванне под кое-как закрепленной лейкой душа, которая свисала из голой стены, и смывал с себя грязь. Воспоминания имеют короткий период полураспада. Когда они спешили по улочкам Либенау, чтобы не опоздать к ужину, он подумал, что эти дневники могут заставить Алису по-новому взглянуть на мать, больше ее любить, что ли, испытывать меньше желания с ней ссориться. Но произошло прямо противоположное. В последний день они буквально не могли находиться рядом. Словно надоевшая друг другу старая семейная пара, упустившая шанс вовремя рас-

²⁴ Район в юго-западной части Лондона.

статься, они то и дело обменивались колкостями. Шестидесятичетырехлетняя Джейн обращалась со своей дочкой как с соперницей, которую требовалось поставить на место. Стоило им вернуться с прогулки, как Алиса затеяла с матерью ссору из-за назначенного времени ужина. А сидя за столом, они принялись с жаром спорить по поводу политики Христианско-демократического и *Erziehungsgeld* – предложенного Гельмутом Колем законопроекта о пособиях по уходу за детьми. Ссора завершилась только после того, как Генрих, сжав кулак, стукнул им по столу. А сидя в саду, они стали цапаться из-за череды мероприятий во время детского семейного праздника в голландской рыбацкой деревне Хинделоопен. Когда Роланд, ложась в тот же вечер в постель, спросил у Алисы, какая кошка пробежала между ней и матерью, она ответила:

– Это наши обычные отношения. Я хочу домой.

А потом он проснулся среди ночи и увидел, как она плачет. Что было необычно. Она не сказала ему, в чем причина. Она уснула у него на локте, а он лежал на спине и размышлял о молодой Джейн Фармер и о поразивших ее впечатлениях от поездки в Мюнхен.

* * *

Лейтенант Шифф ее предупредил. Она хоть и следила за развитием военных действий, но пропустила сообщения о семидесяти крупных авианалетах на город. Она вылезла из джипа на перекрестке близ развалин бывшего центрального вокзала. Мюнхен лежал в руинах. И она чувствовала свою «личную ответственность». Смехотворное чувство, подумал Роланд. Город выглядел ужасно, писала она в дневнике, как Берлин. «Это куда страшнее, чем бомбежки Лондона». Наконец она подарила Бернаруду прощальный поцелуй, не дав ему фальшивых обещаний, что они когда-нибудь еще увидятся. У него была жена и трое детей в Миннесоте, и он показывал ей фотографии своего счастливого семейства. Он укатил, а она подхватила чемодан и сжала в свободной руке «Бедекер» издания 20-х годов. Встав в теньке, раскрыла путеводитель и стала разглядывать складную карту города. Но она не могла понять, где находится: на улицах не было вывесок. Вокруг нее простиралась каменная пустыня, было, к несчастью, очень жарко. На дорогах из-под колес редких машин – в основном американских военных грузовиков – вздымались облака кирпичной пыли, взвесью висевшие в неподвижном воздухе. Все здания, возле которых она остановилась, были без крыш. А окна зияли «огромными дырами в форме неровных прямоугольников». Шестнадцать месяцев спустя после окончания войны щебенку и мусор сгребли в «аккуратные горы». Она с удивлением заметила неспешно скользящий по улице старенький трамвай с пассажирами. На улице было немало людей, поэтому она убрала карту и воспользовалась школьными знаниями немецкого. Ее акцент не вызвал у пешеходов враждебности. Впрочем, и особой доброжелательности они не проявили. Через час, едва не заблудившись из-за неверных или плохо ею понятых указаний, куда идти, она нашла нужный дом – пансион близ Гизела-штрассе, рядом с университетом и неподалеку от Английского сада.

Она была удивлена – как все время удивлялась, колеся по Франции, тому, что есть отели и специально обученные люди, которые меняли постельное белье и готовили еду из того, что можно было найти в продаже. Быстро же после разрушительной войны все вернулось к нормальной жизни. В других местах с едой были перебои. Сгоревшие танки на обочинах шоссе были привычной подробностью пейзажей. Везде валялся оставшийся после войны мусор. В одной французской деревушке она видела лежавшее поперек мостовой почерневшее крыло сбитого истребителя. По непонятным ей причинам никто не собирался его убирать. Шоссейные дороги и уцелевшие железнодорожные вокзалы были забиты толпами людей, лишенных всего, уцелевших евреев из концлагерей, бывших солдат и военнопленных, беженцев из совет-

ской зоны оккупации. Десятки тысяч были заключены в фильтрационные лагеря. Повсюду она видела «бездомных, грязь, голод, горе и ожесточение».

Две трети города лежало в руинах. Но были здесь и укромные уголки, где сохранилась нормальная жизнь и куда не упала ни одна бомба. Ее крошечный номер на четвертом этаже был покрыт пылью и пропах влажной затхлостью, но на кровати лежало пухлое стеганое одеяло – что в ту пору казалось заезжей англичанке настоящей экзотикой. Стоя у окна и глядя туда, где, по ее предположению, протекала река, она могла «почти убедить себя, что недавнего безумия никогда не было». Этот пансион, насколько она могла судить, был полностью заселен американскими офицерами и сотрудниками гражданской администрации. Спускаясь по лестнице из своего номера, она слышала из-за закрытых дверей перестук пишущих машинок. Над лестничными пролетами висел густой аромат табачного дыма.

На следующее утро она совершила короткую прогулку до главного здания университета на Людвиг-штрассе. Там ее направили на второй этаж. Она прошла по длинному коридору с колоннадой, наполненному студентами. Еще более неожиданный признак нормальной жизни. Она остановилась перед кабинетом администрации, чтобы еще раз мысленно пробежаться по своему запасу немецких слов. В прямоугольном зале с высокими окнами она увидела не меньше десятка то ли секретарей, то ли делопроизводителей. Но сколько она ни искала глазами стол приема посетителей, не нашла, и тогда она, не обращаясь ни к кому конкретно, громко произнесла по-немецки заученную из учебника фразу. Все головы повернулись к ней.

– *Entschuldigung. Guten Morgen!*²⁵

И далее она пояснила, что пишет статью о движении «Белая роза» для известного лондонского журнала. Может ли кто-нибудь помочь ей найти людей, к кому она могла бы обратиться? Она была готова к не слишком дружелюбной реакции. Шесть главных членов движения, Ганс и Софи Шолль, трое друзей-студентов и один профессор были приговорены к смерти и казнены на гильотине. Затем последовали и другие казни. Когда новость об этом распространилась по городу, две тысячи студентов собрались на митинг и шумно одобрили эти казни. Предатели. Коммунистические выродки. А что будет сейчас? Еще слишком мало времени прошло, да и это было настолько позорно, что, возможно, они едва ли готовы как-то выразить свои чувства помимо смущенного молчания. Но вопреки ее ожиданиям раздались одобрительные возгласы. Две машинистки встали из-за столов и, улыбаясь, устремились к ней.

Три года назад эти сотрудники университетской администрации вполне могли бы с негодованием сплунуть при одном только упоминании о «Белой розе». В новой ситуации Мюнхенский университет решил отождествить себя с мятежной группой, выразить чувство гордости ее мужеством и четкой моральной позицией. Никакая другая колыбель немецкой науки не могла бы похвастаться таким количеством мучеников. Шолли, Алекс Шморель, Вилли Граф, Кристоф Пробст, профессор Курт Губер были славными мюнхенцами. Перед лицом всеобъемлющей и жестокой государственной власти их сопротивление имело сугубо интеллектуальную направленность. «Эти дети были так юны, так отважны!» Кто мог бы пытаться разубедить администрацию университета, включая ее низших сотрудников, в том, что эти борцы символизировали возврат храма науки к своему истинному предназначению? Свободомыслие! «А ведь некогда, – писала Джейн в дневнике, – это был университет, связанный с именами Макса Вебера и Томаса Манна, – и вот он вновь стал таким!»

Первой к ней подошла толстушка лет шестидесяти в очках, которые увеличивали ее глаза и придавали сходство с «добродушной лягушкой». Она взяла Джейн за локоть и развернула к шкафу с документами. Потом достала оттуда тонкую пачку фотокопий и передала ей:

– *Hier ist alles, was Sie wissen müssen.*

«Здесь все, что вам нужно знать».

²⁵ Прошу прощения. Доброе утро! (нем.)

Это были копии шести брошюр «Белой розы» объемом меньше двух страничек каждая, которые через Швейцарию и Швецию доставлялись в Лондон. Там их размножали на копировальных машинах миллионными тиражами и сбрасывали с английских военных самолетов по всей Германии. Джейн ничего этого не знала и оттого чувствовала себя дурой. Она-то считала листовки редкостью, думая, что они все давным-давно собраны и уничтожены гестапо. Об этом наверняка знали Маггеридж и его знакомые. Скорее всего, все в редакции «Хорайзона» знали об этом и полагали, что и она тоже знает.

Другие сотрудники Мюнхенского университета написали ей имена и адреса. При этом возникали мелкие разногласия. Она слышала, как кто-то восклицал вполголоса: «Да она там больше не живет!» и «Он врет. Ни в чем он не участвовал!». Было названо имя сестры казненных – Инга Шолль. Она, вероятно, живет в семейном доме в Ульме. Нет, возразил кто-то, она в Мюнхене. Ходили слухи, что она пишет мемуары. Она долго сидела в концлагере и все еще приходила в себя. Возможно, она не захочет об этом говорить, уверяли одни. Нет, захочет, настаивали другие. В этой перепалке не чувствовалось враждебности. Общим настроением, по оценке Джейн, были энтузиазм и гордость.

В университетской администрации она провела час. За это время она не переставала волноваться, что войдет начальник и выразит свое недовольство суматохой, которую вызвала просьба Джейн. Но начальник уже находился в комнате. Это был «лохматый мужчина в темном костюме, который был ему велик на два размера». Именно он и объяснил ей, в какой последовательности следует читать копии листовок – первые четыре были напечатаны летом и осенью 1942 года и тайно распространены в Мюнхене и ближайших к нему городках. Последние две были написаны в начале следующего года после того, как Ганс Шолль, Пробст и Граф вернулись с Русского фронта, где служили санитарями. А самая последняя листовка появилась за день-два до того, как гестапо арестовало всю группу. Еще он обратил внимание Джейн на различия между пятой и шестой листовками.

Распрощавшись со всеми и поблагодарив за помощь, Джейн дала обещание прислать экземпляр журнала со своей статьей. На Людвиг-штрассе ею овладело нетерпение. Она остановилась на углу, вытащила скрепленные листки бумаги и прочитала первый заголовок: «Листовка «Белой розы». Ее немецкий был достаточно хорош, чтобы она смогла осилить первое предложение без словаря: «Ничто так не позорит цивилизованную нацию, как готовность без сопротивления позволить «управлять собой» клике авантюристов, оказавшейся во власти своих порочных инстинктов».

Она отвела полстраницы своего дневника впечатлениям от прочитанного. Роланд предположил, что она писала эти строки, уже прочитав все шесть брошюрок. *«Ничто так не позорит цивилизованную нацию... Я словно читала перевод латинского текста, принадлежащего перу видного античного мыслителя... Это вводное заявление, выдержанное в столь возвышенном тоне, было написано современным человеком, студентом, всего-то двадцати с лишним лет, с жгучей страстью к интеллектуальной свободе и с безошибочным чувством бесценной художественной, философской и религиозной традиции, оказавшейся под угрозой уничтожения. Я ощутила восторг, это было потрясение сродни беспамятству... я словно влюбилась... Ганс Шолль, его сестра Софи и их друзья, чуть ли не единственные среди всех немцев, возвысили свои тишайшие голоса против тирании, не ради политики, но во имя самой цивилизации. И теперь они мертвы. Три года как мертвы, и я оплакивала их, стоя на углу Людвиг-штрассе. Мне так хотелось познакомиться с ними, так хотелось, чтобы они сейчас были со мной. Я шла обратно в отель, буруемая печалью, словно скорбя по своему погибшему возлюбленному».*

Она не покидала номер, покуда не перечитала и не законспектировала все листовки. Как же это было опасно, какое мужество требовалось, чтобы назвать Третий рейх «духовной тюрьмой... механическим государственным аппаратом, в котором господствуют преступ-

ники и пьяницы» и утверждать, что «все слова, произнесенные Гитлером, являются ложью... Его рот – это зловонные врата ада». И все эти заявления были помещены в оправу научных идей прошлого. Гете, Шиллер, Аристотель, Лао-цзы. У нее возникло ощущение, будто она «делает упражнения по какому-то учебному предмету». Она вполне отдавала себе отчет в том, как близкое знакомство с авторами подобных текстов могло развить и обогатить любовь к свободе. Она вдруг почувствовала «злость, даже отвращение» к тому, что ее родители совершенно бездумно и потому, что она была девочкой, никогда не предлагали ей ту же привилегию, какой наслаждался ее брат, – получить университетское образование. Он все еще служил в армии – брат был капитаном Королевской артиллерии и участником славной войны. И она, сидя на кровати в своем крошечном номере мюнхенской гостиницы с видом на Английский сад, приняла решение, что как только вернется домой, как только отдаст статью в редакцию, то непременно поступит в университет. Будет изучать философию или литературу. А лучше и то и другое. Это будет ее личный акт... но чего именно? Сопротивления, уважения. Ее дань уважения «Белой розе». Она выписала отдельные фразы из листовок. «Самые вопиющие преступления» государства – это преступления, которые в массовом порядке попирают все стандарты человечности... Никогда не забывайте, что все граждане заслуживают того режима, с которым хотят ужиться... наше нынешнее государство – это диктатура зла». И из Аристотеля: «Деспот бесконечно предрасположен к разжиганию войн». В самом конце первой листовки, после двух величественных строк из «Пробуждения Эпименида» Гете, простая, проникнутая надеждой просьба тронула ее своим пафосом: «Пожалуйста, сделайте как можно больше копий этой листовки и распространите их».

«...После вторжения в Польшу 300 тысяч евреев было там уничтожено самым зверским образом». Ганс Шолль и его единомышленники страстно желали растормошить немецкий народ, избавить его от бездействия, от апатии «перед лицом этих отвратительных преступлений, преступлений, унижающих человеческий род... тупое безволие немецкого народа только поощряет всех этих фашистских преступников». Покуда они не предпримут решительных действий, никто не сможет снять с себя бремя вины, потому что каждый «виновен, виновен, виновен». Финальная фраза четвертой листовки: «Мы не будем молчать. Мы – твоя грешная совесть. «Белая роза» не оставит тебя в покое!» Но оставалась еще надежда, потому что еще не поздно: «Теперь, когда мы воочию увидели, что они такое, нашим первым и единственным долгом, святым долгом каждого немца должно стать уничтожение этих чудовищ!» В условиях тотальной и порочной власти государства единственная наша возможность – это «пассивное сопротивление». Тихий саботаж на фабриках, в лабораториях, в университетах и во всех сферах искусства. «Не жертвуйте средств на общественные нужды... Не участвуйте в сборе металлолома, тканей и тому подобных мероприятиях».

Тон последних двух листовок стал возвышенным. Эти брошюры теперь назывались «Листовки Сопротивления» и «Борцы-собратья по Сопротивлению!». В пятой заявлялось, что после перевооружения Соединенных Штатов войне придет конец. Пора немецкому народу отречься от национал-социализма. Гитлер «ведет Германию в бездну. Гитлер не может выиграть войну, он может лишь ее продлить... Возмездие уже близко». «Верно, – строго заметила Джейн в своем дневнике, – но пока еще рано об этом говорить».

У оппозиционного движения «Белая роза», похоже, не было никакого политического проекта на будущее. Но потом в последней и самой короткой листовке, написанной в январе 1943 года, Джейн прочитала: «Только при широком сотрудничестве всех народов Европы можно проложить путь к возрождению... Германия завтрашнего дня будет федеративным государством».

Софи Шолль схватили, когда она распространяла эту шестую листовку в том самом университетском здании, где сегодня побывала Джейн. Вахтер заметил, как она разбрасывала листки из светового окна на крыше главного входа. Он донес на нее – и это был конец.

К тому моменту немецкие войска получили отпор под Сталинградом. Там произошла кровопролитная битва беспрецедентных масштабов. И эта битва стала справедливо считаться переломным моментом в войне. «330 тысяч немцев были безжалостно отправлены на бессмысленную смерть и уничтожение благодаря блестящей стратегии, разработанной бывшим рядовым, сражавшимся на фронте Первой мировой войны. Спасибо тебе, фюрер!» В последнем абзаце последней листовки содержался обращенный к молодым немцам призыв восстать «во имя интеллектуальных и духовных ценностей... интеллектуальной свободы... высокой идейности». Немецкая молодежь должна «уничтожить своих угнетателей... и учредить новую Европу духа... Погибшие в Сталинграде молят нас действовать». И последняя пронзительная фраза: «Наш народ готов восстать против национал-социалистического порабощения Европы, охваченный энтузиазмом нового обретения свободы и чести». Этими словами, исполненными воодушевления и надежды, текст завершался. После произведенных арестов события завертились очень быстро: состоялся показательный процесс с предрешенным финалом, после чего последовали и первые казни. Головы трех молодых людей, обладавших горячими сердцами и беспримерным мужеством, отсекли от их тел. Софи Шолль, самой юной из них, был всего двадцать один год.

Джейн полчаса лежала на кровати, в полном изнеможении и экзальтации. Она предалась, как было написано в ее дневнике, «приятному порыву самокритики». Сейчас ее собственная жизнь казалась ей мелкой и бесцельной. Позади громоздился бесформенный ворох недель. Она прожила эти годы войны словно в забытьи, печатая в министерском машбюро какие-то дурацкие письма. За все годы она ни разу не осмелилась совершить нечто запретное, помимо выкуренной тайком сигаретки в четырнадцатилетнем возрасте в роще рододендронов за школьным стадионом. Во время немецких бомбежек Лондона ей всегда везло, но разве это можно считать личным достижением? Она переживала тяготы войны вместе со всеми, как все. Она ни разу не встала на чью-то защиту, ни разу не рискнула жизнью ради идеи, ради принципа. И что теперь? Она не ответила на свой вопрос. «Голод дал о себе знать. Я не ела весь день». Но в тот вечер еды в гостиничном ресторанчике не оказалось. Она пошла бродить по университетскому кварталу в поисках недорогой забегаловки. «Я чувствовала себя по-другому, я становилась другим человеком. Я была готова начать новую жизнь». Наконец она нашла киоск, где купила «отвратительную сосиску на куске плесневелого хлеба. Сосиску спасла только горчица».

Логичным ответом на вопрос «И что теперь?» было еще раз пробежаться по списку людей, связанных с «Белой розой», написать статью и отправиться в Ломбардию. Среди руин Мюнхена жизнь показалась ей «вполне многообещающей». Она вообразила себя почетным членом группы Сопротивления. Она продолжит их работу, поможет построить новую Европу, о которой они мечтали. Тут мог быть ценен даже скромный вклад, такой, как желание облагородить британскую кухню, как она написала в игривом тоне, «описывая искусство оссо буко!». Спустя четверть века, узнав, что ее страна наконец-то присоединилась к европейскому проекту, она испытала восторг при мысли о том, что это соответствовало мечтам ее молодости. Между тем, находясь здесь, она в последующие десять дней посвятила себя попытке написания истории «Белой розы».

Ее первой ошибкой стало предположение, будто люди, с которыми МИ-6 посоветовала ей связаться, обладают некоей привилегированной информацией. Она обошла чуть ли не весь город со своим «Бедкером» под мышкой, да все без толку. Три наводки оказались бесполезными. В первом адресе значился многоквартирный дом начала века, и от него остались одни развалины. Вторым в списке оказался небольшой дом на узкой улочке в Швабинге, но там сейчас жила итальянская семья, и они ничего не знали. Третий дом, тоже в Швабинге, уцелел, но при взгляде на него стало понятно, что в нем уже много лет никто не жил. В хаосе войны, а потом в суматохе послевоенных месяцев никто не задерживался в одном месте надолго. Ей больше повезло с наводками, полученными в университете, хотя и тут многие имена и адреса

никуда не привели. Первым ее успехом стала часовая беседа с подругой Эльзы Гебель – бывшей политической заключенной, участницей движения, занимавшейся учетом арестованных гестапо. Гебель тесно общалась с Софи Шолль в ее последние дни на свободе и даже провела с ней четыре дня в одной камере. Это были сведения, что называется, не из первых рук, но Джейн поверила своей собеседнице Стефани Руде, энергичной и умной женщине. Гебель собиралась написать собственные воспоминания о тех событиях, и они вполне могли бы войти в книгу, которую писала Инге Шолль. Стефани не сомневалась, что Шолль обрадовалась бы, если бы Гебель смогла поговорить с Джейн.

Софи Шолль призналась тогда Эльзе, что всегда была уверена: если ее поймут за распространением листовок или за выведением краской слова «Свобода!» на мюнхенских стенах, это будет стоить ей жизни. После первого ночного допроса она вернулась в камеру, тихая и спокойная. Когда ей предложили дать признание в том, что ошибалась в своих взглядах на национал-социализм, она отказалась. Ошибались, заявила она, те, кто ее арестовал. Но узнав, что Кристоф Пробст также оказался в застенках, она пала духом. У него было трое маленьких детей. Потом она вновь взяла себя в руки, обретя опору в религиозной вере и убежденности в правоте их дела. Она убедила себя, что вторжение сил союзников не за горами – и тогда война закончится в считанные недели. Она осталась убеждена в том, что национал-социализм – это зло, и считала, что если Гансу, ее брату, суждено умереть, то и она тоже умрет. На заседаниях «народного суда» она сохраняла спокойствие. После вынесения приговора ее перевели в Штадельхаймскую тюрьму, куда также отправили ее брата и Пробста. Перед казнью Шоллям позволили повидаться с родителями.

Все, что Джейн услышала во время этого и других интервью, должно было оформиться в легенду. «Белая роза» стала хрестоматийным материалом школьных учебников истории, сюжетом плохих стихотворений, темой сентиментальных рассуждений о святом долге, драматических кинолент и назидательных детских книжек, а также бесконечных научных штудий и лавины докторских диссертаций. История «Белой розы» стала преданием, в котором послевоенная Германия нуждалась как в основополагающем нарративе нового федеративного государства. Она стала сверкающим мифом, настолько удачно освоенным и с энтузиазмом подхваченным официозной пропагандой, что в последующие годы она должна была неминуемо провоцировать цинические усмешки или того хуже. А разве Ганс Шолль не был когда-то звеньевым в гитлерюгенде? А разве ваш обожаемый музыковед профессор Пробст не был антисемитом и разве влияние этих его настроений не просматривается в тексте второй листовки, где содержится вот такая любопытная оговорка: «вне зависимости от того, какую позицию мы занимаем в еврейском вопросе»? Многие немецкие левые осуждали Губера, традиционного консерватора, за то, что он, как и нацисты, был «антибольшевиком». Другие не могли понять, чем эти молодые христиане отличаются от прочих. Только военная мощь Соединенных Штатов и Советской России могла разгромить нацизм.

Но Джейн была убеждена, что для всякого, кто прочитает историю сопротивления одиночек, сражавшихся, пока страна лежала в руинах, а половина населения голодала, и каждый немец только начал пробуждаться от ночного кошмара, в который все немцы, или почти все, внесли свою лепту, станет вдохновляющим откровением, началом покаяния. И она оказалась в нужное время в нужном месте, готовая написать и опубликовать первый подробный рассказ об этом сопротивлении.

В течение недели она поговорила с десятком людей, в той или иной мере имевших отношение к интересующей ее организации. Ей повезло получить получасовую аудиенцию с Фальком Гарнаком, который в то время случайно оказался в Мюнхене. В прежние годы он был директором Национального театра в Веймаре. Он был связан с многочисленными и разобщенными группами немецкого Сопротивления. Именно он в свое время договорился о встрече Ганса Шолля с берлинской группой противников режима. Но так вышло, что обговорен-

ная заранее дата встречи оказалась днем казни Ганса. Разные источники рассказали Джейн о знаменитом официальном мероприятии, состоявшемся в Мюнхенском университете, когда перед собранием студентов, среди которых были и ветераны войны – инвалиды, выступил один из руководителей национал-социалистической партии гауляйтер Пауль Гизлер. В соответствии со своей линией пассивного сопротивления Шолли уклонились от участия в этой встрече. В напыщенной и язвительной речи Гизлер призвал немецких студенток беременеть ради фатерлянда. В этом, провозгласил он, заключается их патриотический долг. А женщин, кто «недостаточно привлекателен, чтобы найти себе партнера», он пообещал познакомить со своими адъютантами. Студенты встретили его речь громким улюлюканьем, топотом ног и свистом и покинули аудиторию – это было неслыханное выражение протеста против партии. Как выяснилось, «Белая роза» отнюдь не была такой уж одинокой. Джейн встретила с Катариной Шюддекопф, а потом коротко пересеклась и с Гизелой Шертлинг, подружкой Ганса Шолля – так Джейн максимально сблизилась с ядром группы. Катарина показала ей фотографии Шоллей, Графа и Пробста. И Шюддекопф, и Шертлинг – обе отсидели в тюрьме за политическое инакомыслие.

Теперь у Джейн набралось достаточно фактического материала о шести главных активистах движения, включая профессора Губера. Вечером накануне ее двух последних интервью она написала первый абзац будущей статьи для «Хорайзона». Наутро она снова отправилась в Швабинг, на этот раз чтобы встретиться со старшекурсником факультета права Мюнхенского университета Генрихом Эберхардтом. Это благодаря его энтузиазму стены мюнхенских домов были покрыты надписями «Долой Гитлера!» и «Свобода!», и это он отправился в Штутгарт и другие города Германии, где распространял четвертую, пятую и шестую листовки. Несколько лет ранее, когда служил во Франции, он был ранен в ногу крупнокалиберной пулей, признан «годным к нестроевой» и получил длинный отпуск для продолжения учебы. В группе он познакомился с разными людьми, но так и не стал полноценным членом движения. Он был знаком с Лео Самбергером, одним из молодых юристов, с ужасом и стыдом наблюдавших за ходом процесса над Шоллями и Пробстом. Джейн сочла, что с ним будет интересно побеседовать.

Как всегда пунктуальная, Джейн приехала на встречу ровно в десять. Комната Генриха на первом этаже общежития, что показалось ей необычным, была просторная, со вкусом обставленная и хорошо освещенная благодаря застекленной двери, что вела в садик. Когда он ее поприветствовал, Джейн слегка вздрогнула, узнав его. У нее возникло ощущение, будто все ее прошлые знакомства были всего лишь подготовкой к этой встрече. Иначе говоря, это ощущение несколько исказило и обмануло уже сложившиеся у нее суждения. Высокий молодой парень с тихим голосом и легкой хромотой, который пожал ей руку и жестом пригласил присесть на стул, был словно двойник Шолля, Пробста, Шморелла и Графа, вместе взятых. Подобно им всем, он держал в руке трубку, но сейчас незажженную. Она отметила в нем энергичность и привлекательность Ганса, открытый честный взгляд Кристофа, изящество Алекса и мечтательное глубокомыслие Вилли – вкупе с зачесанной назад, как у него, гривой темных волос. Джейн сделала мгновенный вывод: Генрих был олицетворением «Белой розы». Даже в тот волнующий момент она отдавала себе отчет в том, что находится в странном, возможно, полубредовом состоянии, но ей было все равно. Она была очарована им. У нее немного тряслись руки, когда она присела на стул и вытащила из сумки записную книжку. Важным тоном, за которым, подумала она, скрывалась его добродушная ирония, он похвалил ее блестящий немецкий. А когда он встал со стула и пересек комнату, чтобы сварить ей чашку своего жуткого кофе, она заметила на его письменном столе открытые книги по правоведению и фотоснимок в рамке – как она предположила, его родителей. И ни малейшего признака подруги. Она взяла кофе, изо всех сил стараясь держать ее так, чтобы чашка не дребезжала о блюдце. Она терпеливо отвечала на его вежливые вопросы о ее путешествии из Англии, об обстановке

в Париже и в Лондоне, о карточках на питание. Она из всех сил старалась произвести на него хорошее впечатление.

После обмена учтивыми репликами Джейн аккуратно вывела разговор к теме суда. Что узнал Генрих от своего друга Самбергера? Теперь, когда их беседа плавно перетекла к сопротивлению, Генриха больше заинтересовало обсуждение других групп, с которыми контактировала «Белая роза». Сам он был родом из Гамбурга, города, имевшего славную традицию враждебного отношения к Гитлеру. Ганс Шолль навел там контакты с радикалами, которых интересовали диверсии в стиле французского Сопротивления. Они даже предприняли попытку раздобыть нитроглицерин. Еще они установили связи с ячейками во Фрайбурге и Бонне. Штутгарт был отдельный случай. И, наконец, была еще берлинская группа, находившаяся под непосредственным влиянием «Белой розы». Он говорил тихим спокойным голосом, и ей нравилось его звучание. Но его рассказ о многочисленных антинацистских группах в разных уголках Германии вызвал у нее глухой протест. Он только все усложнял. И она с досадой думала о том, что не сможет втиснуть в 5 тысяч слов все подробности о разрозненных и малоэффективных группах сопротивления, особенно тех, что возникли после Сталинградской битвы и нескончаемых бомбежек рейнских городов. Ей хотелось узнать как можно больше только о «Белой розе». Она же была связана этой узкой темой. Почему же Генрих настойчиво уходил от нее? Она упрямо задавала ему наводящие вопросы, и он наконец начал выкладывать ей все, что узнал от своего друга и прочих людей. Его голос стал еще тише и каким-то монотонным. Джейн даже подалась вперед, чтобы лучше его слышать. Ее дневники изобиловали обрывками тюремных и судебных слухов, среди которых попадалось немало сведений из третьих рук, и все это было записано не свойственным ей меленьким почерком, похожим на паучью вязь. От сильных переживаний, наверное, ее рука местами дрожала. Все, буквально все, даже тюремные охранники, даже следователь гестапо Роберт Мор, отмечали, с каким спокойствием и достоинством держались осужденные. Мор был поражен, сколь смиренно восприняла Софи Шолль грядущую смерть. Прощальные письма семье и друзьям, которые Гансу, Софи и Кристофу посоветовали написать, не были доставлены. Вместо этого нацистские власти убрали их в архив. На суде родители Шоллей пришли лишь на самое последнее заседание. Мать упала в обморок, потом очнулась. Судья Фрайслер был известен своими безжалостными приговорами. В его глазах подсудимые умерли еще задолго до начала суда. И когда огласили приговор, Софи отказалась сделать традиционное заявление. Ганс попытался выступить в защиту Кристофа, отца троих детей, в том числе новорожденного. Но Фрайслер оборвал его на полуслове.

Для приведения смертного приговора в исполнение осужденных перевезли в Штадельхаймскую тюрьму на окраине Мюнхена. Охрана немного смягчила правила и позволила Шоллям увидеться с родителями. Жена Пробста все еще лежала в больнице, ослабев от полученной во время родов инфекции. Софи была необычайно красива. Она немного поела сладостей, которые принесла им мать и от которых отказался Ганс. Софи вызвали первой, и она безропотно удалилась. А когда настал черед Ганса, он положил голову на плаху и выкрикнул что-то о свободе – но тут описания расходились.

Генрих замолчал. Он, видимо, заметил, как у Джейн на глаза навернулись слезы. Потом он сообщил, может быть, чтобы ее утешить, что судья Фрайслер погиб при бомбежке.

А потом он сделал добрый жест, который изменил жизни их обоих. Генрих перегнулся через стол и накрыл руку Джейн своей. Отвечая на его ласку, через несколько секунд она повернула ладонь вверх, и их пальцы переплелись. Они слегка пожали друг другу руки. То, что произошло потом, не описано в ее дневнике, но Джейн заметила, что вышла из комнаты Генриха часов в девять вечера. То есть одиннадцать часов спустя. А на следующее утро она написала записку коллеге Курта Губера с извинениями за то, что не пришла на свое последнее интервью.

Джейн не была профессиональной журналисткой. Если в своих изысканиях она оказалась чересчур близка к теме, то сейчас она погрузилась в нее целиком, если не сказать утонула

в ней. И какая разница, увлеклась ли она Генрихом или «Белой розой». Охваченной половым сильным чувствам, она и сама не могла толком этого понять. Ей нужно было и то и другое. Ее слезы, заставившие его положить свою руку на ее руку, были вызваны тем, что она вообразила, как легко сам Генрих мог бы оказаться на плахе. И его обаяние, ум, доброта и отвага могли быть уничтожены одним ударом лезвия.

В течение недели она переехала из своего номерка в пансионе в комнату Генриха в Швабинге. Наступили холодные осенние вечера, но у него в комнате ей было теплее, чем где бы то ни было в Лондоне. Ее жизнь так стремительно поменялась! Она даже подумать не могла, какая же она импульсивная! Днем и ночью они не расставались ни на миг. Генрих отложил подготовку к экзамену по праву. У Джейн не было времени писать статью. Но она не беспокоилась, потому что, когда они бродили по городу, она все равно искала материал о «Белой розе». Генрих показал ей, где жил Ганс Шолль в то время, когда дом принадлежал Карлу Муту, и где члены группы частенько встречались со своими друзьями. Именно там Генрих познакомился с Вилли Графом и Шоллями.

Вместе они пошли к Штадельхаймской тюрьме и на Перлахское кладбище неподалеку, но могил найти не смогли. Возможно, они не там искали. Или же местные власти во времена гауляйтера Гизлера не хотели потакать почитанию казненных мучеников.

Однажды вечером, вскоре после того как она к нему переехала, Генри показал Джейн свое самое ценное сокровище. Оно лежало под стопкой книг, завернутое в траченные молью занавески, между старыми листами картона. Он прятал его всю войну. Это было первое издание альманаха «Синий всадник», опубликованного в 1912 году, своеобразный манифест группы художников-экспрессионистов, работавших в Мюнхене и в его пригородах незадолго до Первой мировой войны. Национал-социалисты считали их искусство «дегенеративным» и подвергли запрету, их картины конфисковывали и распродавали, уничтожали или прятали. Очень скоро, уверял Генрих, когда полотна Кандинского, Марка, Мюнтер, Веревкиной, Макке и многих других вновь вернутся на стены картинных галерей, это издание будет стоит кучу денег. Это был подарок ему на двадцатилетие от зажиточного дядюшки, любившего современное искусство и утратившего почти всю свою коллекцию. С тех пор для Джейн и Генриха «Синий всадник» стал общим любимым увлечением. От розы к всаднику, от белого к синему, от войны к миру – мощное движение, радостно совершавшееся вместе. У Генриха еще был альбом репродукций, датируемый концом 20-х годов, и хотя почти все иллюстрации в нем были черно-белые, Джейн начала разделять его тягу к, как он говорил, «нерепрезентативному цвету».

В необычно теплый для середины октября день они выехали из Мюнхена на позаимствованном у знакомых стареньком мотоцикле и, проехав шестьдесят километров в южном направлении, оказались в городке Мурнау. Это была их дань уважения. Влюбленная пара Василий Кандинский и Габриэла Мюнтер приехали сюда в 1911 году и были очарованы этим местом. Они сняли дом, который впоследствии стал центром группы «Синий всадник». Они утверждали, что и сам городок, и его окрестности послужили для них мощным стимулом к творчеству. Джейн и Генрих тоже были очарованы, бродя по узким улочкам. Возможно, они смотрели на яркие осенние цвета окружающих деревьев и лугов глазами Габриэлы Мюнтер. Как они слышали, у нее до сих пор был свой дом в Мурнау. Много позднее они узнали, что, как и Генрих, она прятала от национал-социалистских властей работы «Синего всадника», но гораздо более обширную коллекцию, в том числе и несколько полотен Кандинского. И так случилось, что когда в январе 1947 года Джейн уже была беременна и они тихо поженились в том же месяце, ими бесспорно овладела захватывающая идея поселиться в Мурнау. Они сняли там дом и весной переехали.

К тому времени, как они распаковывали вещи и обживали свое трехэтажное шале, Джейн смирилась с тем фактом, что ей никогда не закончить статью о «Белой розе». Она была влюб-

лена, на уже видимой стадии беременности и мысленно свыкалась с новой жизнью. Генрих нашел работу в конторе местного стряпчего, занимавшегося оформлением купли-продажи сельскохозяйственных земель. Она была поглощена обустройством комнаты для будущего ребенка. Обуреваемая чувством вины и написав массу черновиков, она наконец составила объяснительное письмо в редакцию «Хорайзона». Коннолли обошелся с ней так великодушно, что у нее не хватило духу написать ему лично. Поэтому она написала Соне Браунелл, сославшись на то, что в условиях разрухи и голода в Мюнхене оказалось просто невозможно найти что-то про «Белую розу». И она, конечно, не смогла признаться, что в результате поисков вышла замуж за одного из ее членов. По причинам, связанным со здоровьем, она не сможет заскочить в Ломбардию. И еще она пообещала со временем вернуть все выделенные ей на поездку деньги. Отправив письмо, она успокоилась. Но почувствовала угрызения совести, когда в конце года вышла книга Инги Шолль. А ведь ее статья могла быть напечатана первой. Но она не сомневалась, что книга Шолль написана лучше, с большим знанием подробностей и более эмоционально, и потому ее появление имело больше оснований, чем публикация ее статьи, если бы она смогла ее дописать. И тем не менее горькое сожаление преследовало потом ее всю жизнь. Генрих постепенно уходил в себя, как бы замыкался в своей раковине – он никогда не делал вид, что считает себя ровней Шоллю, Пробсту или Графу. Он стал мелким провинциальным стряпчим, ревностным верующим, человеком здравых и твердых убеждений и активным участником деятельности местного отделения ХДС.

Джейн связала свою судьбу с домом. Очень скоро все их милые соседи сошлись во мнении, что ее немецкий, ее певучий баварский говор, почти безукоризнен. Она так и не поступила в университет по примеру своего брата, не стала известной писательницей, не пересекла Альпы, чтобы собрать секреты классического оссо буко и поделиться ими с мало что смыслящими в кулинарии англичанами. Только после того, как они с Генрихом в 1955 году переехали на север, она начала свыкаться с мыслью, что ей уготована тихая жизнь и скучный брак. Тот самый дядюшка, который когда-то подарил Генриху альманах «Синий всадник», оставил ему по завещанию дом в Либенау близ Нинбурга. Джейн предпочла бы остаться в Мурнау, но перед перспективой жить в доме, не платя за него аренду, как сказал Генрих, устоять было невозможно. И, переехав в Либенау, они уже больше не снимались с места. По медицинским показаниям, которые Джейн никогда не разъясняла, она больше не могла иметь детей. В 1951 году Генрих защитил диссертацию по правоведению в Мюнхенском университете и со временем стал партнером в юридической фирме в Нинбурге. Джейн не замечала, как у нее постепенно вошло в привычку послушно исполнять любые прихоти мужа. А он, в свою очередь, не замечал развившуюся у него манеру диктовать свою волю и неосознаваемую уверенность, что ее дело – прислуживать ему в доме. Люди, хорошо знавшие Джейн, иногда наблюдали в ее поведении вспышки резкости, даже раздражения или разочарования. Много лет спустя, рассказывая зятю за ужином о так и не состоявшейся поездке в сельские районы Северной Италии, она насмешливо воскликнула: «А ведь я могла бы стать Элизабет Дэвид!»²⁶

Но это было в далеком будущем. Судя по финальной записи в ее последнем дневнике, она тем летом 1947 года пребывала в состоянии блаженства. Она наводила красоту и уют в комнатах их нового дома, поставила горшки с травянистыми растениями у кухонной двери, посадила овощи на грядках и устроила цветники в саду, а по выходным плавала в тихих водах Штаффельзее вместе со своим молодым мужем-красавцем Генрихом Эберхардтом, оказавшимся среди миллионов немцев одним из сотен смельчаков, которые сопротивлялись нацистской тирании.

Иногда семейная пара наблюдала издали, как семидесятилетняя Габриэла Мюнтер идет по улице. Только один раз, после довольно нервной дискуссии, они решились к ней подойти.

²⁶ Британская писательница-кулинар (1913–1992), автор многих книг рецептов для домашней кухни.

Она стояла в одиночестве перед мясной лавкой. Они поблагодарили художницу за ее искусство, которое не только доставило им огромную радость, но и привлекло их в прекрасный Мурнау. Она пробормотала несколько слов и заторопилась прочь, но они восприняли ее милую улыбку как своего рода благословение. В те солнечные месяцы Джейн печалилась о своих заброшенных проектах гораздо меньше, чем потом, когда она слишком сильно об этом переживала. Ей было «куда радостнее, чем стоило бы, находиться в стране», разбитой и обнищавшей из-за катастрофической войны, и впереди ее ожидало еще больше радостей. На этой восторженной ноте дневник обрывался. В октябре того же года родилась Алиса.

* * *

Он отвлекся от своих мыслей, вздрогнув от пронзительного крика из темноты. Это был не обычный плач проснувшегося младенца, нуждающегося в утешении. Он понимал, что в данный период своей жизни обрел богатое воображение. Но этот кошачий визг прозвучал для него воплем отчаяния. Каково это – вырваться из глубокого младенческого сна в шокирующее ощущение уникального факта своего существования. Вокруг тебя неведомый мир, а у тебя недостаточно инструментов для его познания. В этом тонком жалобном крике, переходящем в визг, слышалось отчаянное одиночество. Крик одинокого человека. Он сразу вскочил на ноги, позабыв обо всех своих мыслях, словно и он тоже восстал из небытия. Обернув бедра полотенцем, он снял с подогревателя бутылочку с молоком. К тому моменту, как он обнял Лоуренса, плач малыша перешел в судорожные рыдания, и поначалу он всхлипывал так сильно, что давился глотками молока. Наконец он успокоился и жадно впился в соску. Когда Роланд сменил ему подгузник и, уложив в кроватку, накрыл его одеяльцем, малыш уже засыпал.

Так было приятно устроиться в тесном кресле рядом с детской колыбелью. Эти ночные посещения детской приносили им обоим пользу: Роланд сам успокаивался при виде спящего сына, лежавшего личиком вверх, закинув ручки, которые едва дотягивались до его головки. Большой мозг в костяном шлеме с самого начала оказался для ребенка обременительной обузой. Он был такой тяжелый, что не позволял Лоуренсу садиться в первые шесть месяцев после рождения. Впоследствии мозг придумает другие способы усложнять ему жизнь. А пока что куполообразная и почти лысая голова младенца убеждала отца в том, что его отпрыск – гений. Возможно ли быть одновременно гением и счастливым? Эйнштейну это удалось, ведь он и на скрипке играл, и под парусом ходил, и познал сладость славы, и умудрился находить чистую радость в своей общей теории относительности. Но при этом он познал скандальный развод, битву за детей, и удручающие любовные интрижки, и параноидальный страх, что его затмит Дэвид Гилберт²⁷, и еще он недооценивал квантовую механику, но при всем том его всегда окружали блестящие ученики, которые были ему всем обязаны. Может, лучше быть глупцом или серым середнячком?

Нет, такие никому не нравились. Глупцы всегда найдут свои способы быть несчастными. Что же до довольных собой посредственностей, Роланд был их живым опровержением. В классе он обычно занимал места в последней десятке по успеваемости и по результатам экзаменов, привычно получая отзывы о своих знаниях в таком роде: «удовлетворительно» или «могло быть и лучше». Он мог бы пережить всплеск умственных способностей в пятнадцатилетнем возрасте, но тогда он уже без остатка принадлежал Мириам Корнелл. Миг его интеллектуального ренессанса был связан с фортепьяно, но его музыкальные упражнения не могли быть транслированы в школьные отметки. И с той самой поры он не приобрел ни продаваемых навыков, ни успехов, ни даже привычки все списывать на неудачи. В своем тесном захламлен-

²⁷ Выдающийся немецкий математик (1862–1943), внесший значительный вклад в развитие многих областей математики. Член многих академий наук, в том числе Берлинской, Геттингенской, Лондонского королевского общества и др.

ном доме в Южном Лондоне он так плотно законопатил все щели, что им с Лоуренсом, запертым в четырех стенах, было трудно дышать, живя на скудные государственные подачки, он был в полном смысле несчастен, отчего мог лишь жалеть себя.

Разве могло это нависшее над континентом радиоактивное облако сравниться с исчезновением его жены? А если говорить о необходимой эфемерной радости сексуального союза с любимой, то он сейчас был гораздо дальше от него, чем в день своего шестнадцатилетия.

Когда он проснулся, часы показывали половину третьего утра. Он проспал два часа, его познабливало. Полотенце съехало на щиколотки. Лоуренс не менял позы – его ручки все еще были брошены вверх, точно он собрался сдаться в плен. Роланд вернулся к себе в спальню и снова принял душ. Потом опять лег на кровать, чистый, спокойный, полуголый, беспричинно настороженный – это в три-то утра. Он уже не мог списать бессонницу на алкоголь, и читать у него не было настроения. Ему захотелось поговорить с самим собой. Надо подумать о будущих планах на жизнь. Ты же не можешь без конца увливать. Представь наконец, что она не вернется. Верно. Тогда что? Тогда... Но как только он достигал этой точки, перед его воображаемым будущим возникали, словно плотный туман, тревожные мысли о повседневных заботах, связанных с отцовством и усталостью. Не могло быть никаких разумных планов, никакого взлета к горным высотам, когда он только и мог что держаться как можно ближе к земле, выживать, обихаживать Лоуренса, заботиться о нем, играть с ним, получать государственное пособие, а еще содержать в порядке дом, готовить еду, ходить за покупками. Теперь его ожидал обычный удел оказавшихся в тисках несчастной судьбы матерей-одиночек.

Но в его мозгу уже проклевывалось стихотворение, проросшее из фразы, которую он случайно услышал на выходе из магазина: *Сам напросился*. Удачное название. А возможно, так оно и есть. Значит, стихотворение будет очень личное – этого демона он надеялся убить, описав его. Но какой прок от поэзии, если ему нужны деньги? Словно в насмешку над его литературными амбициями, Оливер Морган, старый приятель по джазовым временам, две недели назад позвонил ему с предложением. Морган, по его же собственному определению, олицетворял новый дух предпринимательства тэтчеровской эпохи. Он больше не играл на саксофоне. Вместо этого он основывал компании, делал их процветающими – так он говорил – и потом продавал. Но насколько было известно его знакомым, он так и не разбогател. В лучшем случае он терял все, что вкладывал. Его новым бизнесом было изготовление поздравительных открыток. Рынок, уверял он Роланда, завален мусором, сентиментальными картинками и слащавыми надписями. Сплошной китч. Легковесные стишки. В основном спрос на них, как показывают исследования, наблюдался в малообеспеченных слоях. К ним, по словам Моргана, относились курильщики с избыточным весом, плохо образованные, без вкуса, без денег. Но при этом существовало громадное меньшинство молодых образованных профессионалов плюс «профессура» пятидесяти лет и старше. Красивые репродукции индийских эротических картинок или картин европейского Возрождения, возможно, именно это и было востребовано этими потребителями. Плотная кремовая бумага. Внутри открыток Морган хотел размещать современные шуточные поздравления с днем рождения. Что-нибудь остроумное на тему наступления старости, иронические стихи о рождении, вступлении в брак и смерти. Непристойности тоже приветствуются. И покупатель, и получатель таких открыток будут польщены приобщением к широкому культурному контексту. Для Роланда это золотая жила: он привязан к дому, свободного времени у него навалом, он знает толк в поэзии. В первые полгода он будет получать плату акциями, так что ему не надо будет декларировать доходы в службе государственных пособий.

Роланд, невыспавшийся и раздраженный, бросил трубку, минут через двадцать перезвонил, чтобы извиниться, и их дружба не дала трещину. Но Роланд все равно был уязвлен. Морган не понимал, что он серьезный поэт и более полудюжины его стихов были напечатаны в изданиях самой высокой пробы. Хотя на самом деле это были университетские публикации с кро-

печными тиражами. Но следующим изданием вполне мог оказаться «Грэнд-стрит»²⁸. На его письменном столе – достаточно было только протянуть руку – лежал последний вариант. И он ждал письма из журнала.

Все еще разгоряченный после душа, он вытянулся на пурпурно-оранжевом покрывале из индийского хлопка, устроившись в узком лучике света лампы для чтения, который исключал из поля зрения заставленную вещами спальню. В недавние годы правительство приучило даже его критиков не стесняться воображать себя богачем. И он пытался вообразить, будто живет в роскоши. В доме раза в четыре просторнее нынешнего, с любящей, никуда не сбежавшей женой, купаясь в литературной славе, с двумя или тремя счастливыми детишками и уборщицей вроде той, что заскакивала к Питеру и Дафне два раза в неделю.

«Заскочить» – любимое словечко его тещи, которое она позаимствовала в свое время у Коннолли; она всегда обожала неосуществленные поездки. Как, например, «он заскочил в Либенау и убедил Алису вернуться домой». Он взял ее открытку с прикроватной тумбочки и еще раз взглянул на картинку. Это мог быть тот самый поднимавшийся по крутому склону луг, который написала Габриэла Мюнтер в 1908 году, изобразив лежавших на траве коллег по «Синему всаднику» Алексея фон Явленского и Марианну фон Веревкину. Странное дело: они были безлики. На лугу не паслись овцы. Эту картину она могла спрятать в своем доме в Мурнау вместе со многими полотнами Кандинского, которые уцелели после нескольких гестаповских обысков в доме. А если бы их обнаружили, она могла бы отправиться в концлагерь. Обладал ли Роланд таким же мужеством, как она? Это была другая тема. Он отогнал эту мысль и перевернул открытку, чтобы снова ее перечитать. Слово «мтрнство» без гласных больше его не раздражало. Смысл был вполне понятен. Материнство бы ее погубило, ей просто необходимо было сбежать и «найти себя». Такова была теория Дафны. Материнство может и его погубить. В тот момент, когда Алиса писала эту открытку, она направлялась в Либенау. *Пожалуйста, не звони им.* Если только она не заскочила к ним ненадолго, сейчас она должна быть у родителей. Она избавила его от тяжелой необходимости им звонить. Трубку там всегда брала Джейн, не Генрих. Ему пришлось бы ей либо выложить все начистоту, либо соврать, не ведая, что она уже знает.

Своим родителям он ничего не рассказал. Его отец решил продлить свою армейскую службу и, воспользовавшись возможностью получить должность для отставных офицеров, возглавил ремонтную мастерскую легкой бронетехники в Германии. После завершения этих дополнительных десяти лет службы Роберт и Розалинда поселились в небольшом современном доме близ Олдершота недалеко от городка, где родилась Розалинда и где они с Робертом познакомились в 1945 году в караулке, когда она работала помощницей водителя грузовика. Через два месяца после того, как семья обосновалась «у себя дома», они попали в дорожную аварию. Майор Бейнс, делая правый поворот с проселка на оживленное четырехполосное шоссе, взбегавшее вверх по склону горы к перевалу, который местные жители называли Спиной борова, случайно отвел взгляд в сторону и выехал прямо перед мчавшимся на большой скорости автомобилем. По счастью, тот вовремя свернул, и прямого столкновения не произошло. Никто не пострадал, но Роберт и Розалинда испытали сильный шок, который не проходил несколько недель. Особенно это сказалось на ней – у нее началось расстройство памяти, она стала нервной, потеряла сон. Ее руки и предплечья покрылись экземой, во рту появились язвы. Сейчас было не лучшее время рассказывать им про Алису.

Он достиг того возраста – обычно такое случилось с теми, кому хорошо за тридцать, – когда родители начинают потихоньку дряхлеть. До этой поры они полностью владели собой, держали под контролем все, чем бы ни занимались. А теперь их жизнь начала осыпаться по кусочкам, внезапно разлетавшимся, точно осколки бокового зеркала в машине май-

²⁸ Престижный американский литературный журнал, выходивший в 1981–2004 годах.

ора Бейнса. Потом начали отваливаться более крупные куски, и их приходилось подбирать или ловить на лету – этим занимались повзрослевшие дети. Это был долгий процесс. Спустя десять лет он все еще обсуждал эти проблемы с друзьями за столом у них на кухне. Его великодушная заботливая сестра Сьюзен, надо признать, делала для родителей все, что могла. Он взял на себя заботы по получению автомобильной страховки. Как до этого он занимался оформлением ипотеки, наладкой неисправной дренажной системы в саду перед новым домом, настройкой купленного радиоприемника, а также наладкой всего, что не открывалось или не включалось, – такими вот бытовыми мелочами. По совету Алисы он купил для родителей открывалку для консервных банок и бутылок. Он показал им, как она работает, на банке с маринованной красной капустой. Родители стояли рядом с ним в своей новой кухне и внимательно наблюдали за его действиями. Это был важный момент. Их власть над ним ослабевала. Теперь, в восьмидесятые годы, военное поколение вступило в пору увядания. Уход его последних представителей мог занять сорок лет, а то и больше. Хотя и в 2020 году какой-нибудь столетний старик вполне мог бы еще вспоминать о своем участии в боях и о тяготах жизни в дни войны. Призванный в Хайлендский легкий пехотный полк, рядовой Роберт Бейнс видел смерть гражданских и солдат во время отступления по запруженным беженцами дорогам близ Дюнкеркского побережья. Сам он получил три пули в ноги, выпущенные из немецкого автомата. Вернувшись в Англию, после длинного переезда по железной дороге до Ливерпуля, Роберт несколько месяцев пролежал в госпитале Олдер-Хей, в том самом корпусе, где его отец, служивший в том же самом подразделении, лежал с раздробленной ногой во время предыдущей мировой войны. В 1941 году Роберт потерял брата, воевавшего в Норвегии. Розалинда потеряла своего первого мужа, погибшего в Неймегене²⁹ спустя четыре месяца после высадки в Нормандии. От пули в живот. А он сам потерял своего брата, попавшего в плен к японцам и похороненного в Бирме.

Роланду и людям его круга, повзрослевшим в Англии, было привычно задумываться об опасностях, с которыми они не могли столкнуться в жизни. Благодаря выдаваемому детям бесплатному молоку в бутылочках объемом 190 мл государство заботилось, чтобы в костях юного Роланда накапливалось нужное количество кальция. Оно также позволяло ему бесплатно делать упражнения по латинскому языку и физике и даже немецкому. Никого не сажали в тюрьму за модернистское искусство, за нерепрезентативные цвета. Кроме того, его поколению повезло больше, чем следующему за ним. Его выводку посчастливилось возлежать на ласковых коленях истории, упиваться удачным периодом мирного времени, съесть все лакомые кусочки. Роланд оказался удачливым баловнем истории, имевшим все шансы на успех. И к чему он пришел? Оказался ни с чем в то самое время, когда государство сменило доброту на строптивость. Без гроша и полностью зависимым от жалких остатков казенных сокровищ – молочной сыворотки.

И вот, проспав два часа в теплой спальне, ощущая всем телом приятную мягкость хлопчатобумажной простыни, он взбодрился, и в нем пробудился дух мятежа. Он же мог стать свободным. Или притвориться им. Он мог бы сейчас спуститься вниз, нарушить свое новое правило и налить себе стаканчик, а потом порыться в кухонном ящике в поисках пластиковой коробочки с травкой, которую кто-то забыл у него полгода назад. Она должна лежать там. Свернуть косячок, выйти в сад и стоять в крошечной ночной тьме, выскочить из обыденного существования и напомнить самому себе, как это бывало с ним в двадцатилетнем возрасте, что он крохотное существо на гигантском камне, летящем к востоку со скоростью тысячу миль в час, рассекая пустоту, затерянном среди далеких равнодушных звезд. За это можно и выпить! За чистую удачу сознания. Когда-то такая мысль приводила его в восторг. И сейчас еще могла. Да, он это сможет. Он же делал нечто подобное в семидесятые, вместе со своим старинным другом Джо Коппингером, геологом, переквалифицировавшимся в психотерапевта. Скалистые

²⁹ Город в восточной части Нидерландов.

горы, Альпы, Кос дю Ларзак³⁰, Словенские горы. С высоты времени эти походы представлялись ему такой же формой свободы, как и его частые заходы в Восточный Берлин через контрольно-пропускной пункт «Чарли» с грузом полулегальных книг и пластинок. А сейчас он мог просто выйти в сад и отдать дань своим прошлым проявлениям свободы и выпить за нее стаканчик. Но он не шевельнулся. Алкоголь и каннабис в четыре утра, когда Лоуренс проснется до шести, возвестив о начале нового дня? Но дело не в этом. Если бы младенца не было, он все равно бы не двинулся с места. Что же его сдерживало? Сейчас появился дополнительный фактор. Он боялся. Не бездонности пустоты. А чего-то, что было куда ближе. Оно напомнило ему о том, что он хотел от себя оттолкнуть. Мужество. Старомодное понятие. Оно у него имелось?

В мемуарах Инги Шолле о «Белой розе», кратко изложенных Джейн, герру и фрау Шоллям было позволено приехать в Штадельхаймскую тюрьму и повидаться с детьми несколько минут, попрощаться перед их казнью. В условиях дефицита военного времени скромное лакомство, которое они привезли с собой, скорее всего, было безвкусным заменителем шоколада. Ганс от него отказался. Софи же с радостью приняла гостинец. Она сказала родителям, что не обедала и проголодалась. Но Роланд в этом сомневался. Наверное, она подумала: пускай родители хоть немножко порадуются, что она с удовольствием съела их лакомство перед тем, как ее увели. А ему бы хватило мужества за несколько минут до казни на плахе с аппетитом жевать плитку эрзац-шоколада, чтобы доставить радость своим родителям?

Он встал с кровати. Было бы интересно прямо сейчас перечитать рассказ Инги Шолль в изложении Джейн. Стоял ли Кристоф Пробст рядом с семейством Шолль в те последние минуты? Его жена родила четверьмя неделями ранее, но еще не могла встать с больничной койки. Пришел ли кто-то из его близких с ним попрощаться? Роланд выдвинул нижний ящик комода, где Алиса хранила свои свитера. Они лежали там, аккуратно сложенные, и он привычно наслаждался пахнувшим на него цветочным ароматом ее духов. Они завернули без малого 600 скопированных страниц в старые номера газеты «Франкфуртер альгемайне цайтунг». И в считанные секунды он определил, что фотокопии исчезли. Что ж, ладно. У нее было полное право их забрать. Он также уже знал, что она забрала и рукописи обоих своих романов, многократно отвергнутых издательствами. У нее был тяжелый багаж.

Он вернулся в кровать. Насколько он помнил, Ганса и Софи выводили на свидание с родителями по одному. Ганс провел с ними несколько минут, потом наступил черед Софи. Они беседовали с родителями через перегородку. Возможно, родители хотели, чтобы их дочь запомнилась вот такой, но, возможно, так оно и было: Инга Шолль писала, что, по словам родителей, ее сестра вошла в помещение с гордо поднятой головой, спокойная, красивая, кожа у нее была здорового розового цвета, полные губы ярко пунцовели. Еще Роланд помнил, что потом всем троим осужденным разрешили несколько минут побыть вместе. Они обнялись. Кристоф Пробст, лишенный возможности встретиться с женой, и с детьми, и с новорожденным, которого ему не было суждено увидеть, по крайней мере, смог обнять двух друзей. Софи первую повели на гильотину. Это была трагедия, разыгранная на подмостках, которые выстроили люди, находившиеся во власти безумной зловещей мечты. Их звериная жестокость стала всеобъемлющей нормой. Окажись Роланд в таких же условиях, смог бы он подняться до высот мужества Софи и Ганса? Он так не думал. Сейчас нет. Отъезд Алисы обессилил его, а чернотельская катастрофа внушила ему смертельный страх.

Он закрыл глаза. По северным и западным просторам страны, где мягкие известняковые ландшафты превращались в гранитные породы, на взгорьях и на лугах, в каждой травинке, в каждой клеточке растений, вплоть до квантового уровня, частицы ядовитых изотопов обрели свои орбиты. Странное противоестественное вещество. Он представил себе, как по всей Укра-

³⁰ Известняковое карстовое плато во Франции, популярное у пеших туристов.

ине валяются дохлые коровы и домашние собаки, сваленные бульдозерами в огромные ямы или гигантские кучи, где они гниют, а ручьи зараженного молока струятся по придорожным канавам и стекают в реки. Теперь только и было разговоров что о нерожденных детях, которые могли бы умереть от уродств, о бесстрашных украинцах и русских, что встретили мучительную смерть, сражаясь с невиданными пожарами, и об инстинктивной лжи советской политической машины. Он не ощущал того, что сейчас было бы уместно: ни бесшабашной смелости, ни беззаботной радости, чтобы спуститься вниз по лестнице, стоять в одиночестве под ночным небом и приветствовать стаканом звезды. Только не сейчас, когда рукотворная катастрофа вышла из-под контроля. Греки правильно сделали, выдумав своих богов как вздорных и непредсказуемых карающих членов горней элиты. Если бы он мог верить в этих слишком человеческих богов, ему бы следовало их бояться.

4

Через три недели после исчезновения Алисы Роланд начал наводить порядок на заставленных книгами полках вокруг стола рядом с кухней. Не так-то просто справиться с книгами. Их трудно выбрасывать. Они сопротивляются порядку. Он достал картонный ящик, чтобы складывать в него ненужные книги для благотворительной лавки. Спустя час в ящике лежало только два устаревших путеводителя в бумажной обложке. В одних изданиях между страницами были засунуты клочки бумаги или письма, которые нужно было прочитать, прежде чем снова вернуть их на полки. Другие были снабжены трогательными дарственными надписями. Многие книги были ему слишком хорошо знакомы, чтобы оставить их без внимания, не открыть хотя бы на первой странице или наугад в середине и не испытать вновь теплых чувств. Были там и современные первые издания – их-то уж точно надо было раскрыть и доставить себе удовольствие. Он не коллекционировал книги – это были подарки или случайные покупки.

Покуда Лоуренс мирно спал, он успел немного разобрать книжные полки. А вечером после ужина возобновил наведение порядка. Вторая книга, которую он взял из образовавшейся груды, была из библиотеки «Бернерс-холла». Внутри он нашел отметки Совета лондонского графства и библиотечный штамп от 2 июня 1963 года. С тех пор он ни разу ее не открывал, она уцелела после многочисленных переездов и год пролежала тут позабытая. Джозеф Конрад. «Юность и две повести». Дешевое издание. «Дж. М. Дент энд санз, лтд». Репринт 1933 г. Цена: 7 шиллингов 6 пенсов. Страницы разрезаны вручную. Сохранилась суперобложка кремового, зеленого и красного цвета, с ксилографическим рисунком, на котором были изображены пальмы, несущийся на всех парусах корабль, огибающий скалистый мыс, а вдалеке виднелись горы. Образ тропического Востока, мечты о котором так будоражили воображение юного героя повести. Роланд обрадовался этой находке. Книга незаметно путешествовала вместе с ним все эти годы. Ему нравилась «Юность», когда он читал ее в четырнадцать лет, в то время ему мало что вообще хотелось читать. Сейчас он ничего не помнил из сюжета повести.

Держа книгу обеими руками, точно молитвенник, и открыв ее на первой странице, он присел на кухонный стул и сидел, не шевелясь, в течение часа. Когда Роланд устраивался на стуле, из книги выскользнул сложенный листок бумаги, который он отложил в сторону. Рассказчик и четверо других персонажей сидят за полированным столом красного дерева, в котором отражается бутылка кларета и их стаканы. Об окружающей их обстановке ничего не сказано. Они могли бы сидеть в кают-компании корабля или в отдельном кабинете лондонского клуба. Столешница ровная, как водная гладь в штить. Все пятеро представляют разного рода занятия, но их связывают «крепкие узы моря». Все они начали свою жизнь в торговом флоте. Марлоу, альтер эго Конрада, является главным героем повести, и это его первое появление. А прославится он тем, что будет рассказчиком «Сердца тьмы», второй повести в сборнике.

«Юность» занимает особое место в творчестве Конрада, потому что, как объясняет он в заметках «От автора», это был «подвиг памяти». Марлоу рассказывает о плавании, совершенном им в двадцатилетнем возрасте, вторым помощником капитана старенького судна «Джуди», которому надо было в порту в Северной Англии взять на борт груз угля и доставить в Бангкок. Это рассказ о задержках и неудачах. Выйдя из Темзы в море, корабль попадает в шторм близ Ярмута и целых шестнадцать дней добирается до Тайна. Когда же груз наконец оказывается в трюме, в «Джуди» внезапно врывается пароход. Через несколько дней они попадают в шторм к западу от Лизарда. Никто так мастерски не описывает шторм на море, как Конрад. Судно получило пробоину, и вода хлынула в трюм, команда откачивала ее часами, но все равно они вынуждены вернуться обратно в Фальмут. Там они долго ждут, когда судно отремонтируют. Месяц за месяцем – никакого результата. Корабль и его команда стали местной достопри-

мечательностью и поводом для зубоскальства. Молодой Марлоу, получив отпуск, едет в Лондон и возвращается с полным собранием Байрона. Наконец починка судна закончена, и они отправляются в плавание. Старенькая посудина ползет к тропическим широтам со скоростью трех миль в час. В Индийском океане груз угля от жары начинает тлеть. Через несколько дней дым и ядовитые испарения окутывают весь корабль. После многодневной битвы с огнем раздается чудовищный взрыв, и капитан с командой покидают тонущее судно на трех шлюпках. Марлоу находится в самой маленькой вместе с двумя опытными матросами. Так он впервые принимает на себя командование. Они несколько часов гребут в северном направлении и сходят на берег в портовой деревушке на острове Ява.

На их сверкающем столе, должно быть, стояла не одна бутылка бордо. Марлоу время от времени прерывает свой рассказ и говорит: «Передайте бутылку». Смысл этой повести и ее названия в том, что каждый миг, даже момент катастрофы молодой человек Марлоу или Конрад, пребывает в состоянии крайнего возбуждения. Тропический край, сказочный Восток, лежит перед ним, и все события, даже опасности, манящие или скучные, представляются ему приключением. Его демон – юность – помогает ему сохранять интерес к жизни. Оставаться любопытным, проявлять стойкость, испытывать неодолимую жажду нового. «Ах! Юность!» – вот рефрен этой повести.

А последние слова вложены в уста не Марлоу, а повествователя, который нам его представил. Когда Марлоу завершает рассказ, повествователь говорит: «...Все мы кивнули ему через стол, который, словно неподвижная полоса темной воды, отражал наши лица, изборожденные морщинами, лица, отмеченные печатью труда, разочарований, успеха, любви; отражал наши усталые глаза... они глядят тревожно, они всматриваются во что-то за пределами жизни – в то, что прошло и чего все еще ждешь...»³¹.

Роланд дважды перечитал последние полстранички. Они его встревожили. Марлоу в начале повести заметил, что это плавание произошло двадцать два года назад, когда ему было двадцать. Это значит, что, когда Марлоу рассказывает все это своим друзьям, чьи лица изборождены морщинами, отмечены печатью труда, и у них печальные глаза, ему сорок два года. Уже старик? Роланду сейчас тридцать семь. Старость с ее сожалениями, исчезнувшая юность и отвергнутые надежды – до всего этого ему уже рукой подать. Он обратился к заметкам «От автора». Да, «Юность» была «изложением реального опыта, но этот опыт со всеми его фактами, со всем его внутренним и внешним колоритом начинается и кончается во мне».

А что Роланд имел такого, что заканчивалось в нем? При этой мысли его рука невольно тронула выпавший из книги на стол квадратик бумаги. Это была старая газетная вырезка, местами потрескавшаяся вдоль линий сгиба. Заметка из «Таймс» от 2 июня 1961 года, озаглавленная «Местная школа без строгих запретов». Прежде чем прочитать заметку, он задумался над датой. Библиотечная книга имела штамп выдачи двумя годами позже, в 1963 году, задолго до того, как он навсегда покинул школу. Вырезку мог вложить в книгу кто-то другой, а он даже не заметил.

Это была благожелательная, немного скучноватая статья о десятой годовщине основания его школы-пансиона, которая «незаслуженно считалась многими Итоном для бедных». На самом же деле это была средняя школа – пансион на попечении Совета лондонского графства, «свободная от удушающих традиций, коими славятся многие государственные школы», а также свободная от «проблемных мальчиков, которым место в исправительном интернате», стоящая посреди живописных лугов, сбегających по склону холма к реке, школа, открытая для всех, успешно сдавших экзамены для одиннадцатилеток, сообщество мальчиков, вышедших из самых разных слоев общества, сыновей дипломатов наряду с сыновьями рядовых солдат... многие из которых поступают в университет... щедрые стипендии на обучение... боль-

³¹ Перевод А. Кривцова.

шинству родителей не приходится платить ничего». В школе проводится масса внеклассных занятий, школьники получают навыки управления парусниками, посещают клуб юных фермеров, участвуют в оперных спектаклях, здесь царит «дружеская атмосфера». Но главное отличие школы – «свойственное мальчикам благодущие».

Все это было правдой или не неправдой. В свои двадцать Марлоу уже шесть лет как ходил в море. Он взбирался на бизань-мачту в штормовом море, убирал паруса, перекрикивая свист ветра, отдавал команды матросам вдвое старше него. А у Роланда за плечами было пять лет учебы в пансионе среди благодушных мальчиков. Он ходил под парусом, был членом команды гребцов, ползал под низкой переключиной, тянул за веревку, одним концом привязанную к скобе, в то время как мальчик постарше по прозвищу Юнец орал на него в течение двух часов. В то время им казалось, что так себя и ведет капитан морского судна. Но, по мнению Марлоу, вся эта ерундистика на реке была «лишь забавной игрой в жизнь». А вот его существование в море было «настоящей жизнью». Как-то Роланд опрокинулся в лодке на реке Оруэлл, которая только издалека переливалась приятной синевой, а вблизи оказалась сточной канавой. Заметка в «Таймс» делала на этом акцент – на живописных видах издалека. А что вблизи? Какой там «внутренний колорит»? Он не был вполне уверен, но эти слова запомнились и неотвязно его преследовали.

Если бы он пил, это могло бы стать поводом плеснуть себе в стакан виски и поразмыслить над чередой прожитых лет. Марлоу представил себя как прошедшего более половины земного пути. Роланду оставалось недолго до такого же рубежа. Дожив до тридцати с лишком, уже можно задавать себе вопрос, что ты за человек. Первая длинная дистанция бурной юности и взрослой жизни закончилась. Как закончилась пора самооправдания ссылками на свое детство. Незаботливые родители? Дефицит любви? Переизбыток любви? Хватит, больше никаких самооправданий. У тебя имелись друзья, с которыми ты был знаком десятков лет или больше. Ты мог видеть свое отражение в их глазах. Ты мог – или должен был – не раз влюбиться и разлюбить. Тебе было суждено в одиночестве проводить время с пользой. У тебя была какая-никакая общественная жизнь, в которой ты по мере сил участвовал. Твои обязательства довлели над тобой, помогая тебе определить свое место. Родительство могло также пролить некий свет. Маячивший впереди мужчина с морщинистым лицом был не Марлоу. Это был ты в свои сорок лет. Ты, конечно, уже заметил в своем теле ранние приметы смерти. Нельзя терять времени. Теперь тебе нужно сформировать в себе личность, отдельную и отличную от других, чтобы судить о себе самому. И тем не менее ты вполне можешь оказаться кругом не прав. Тебе, возможно, стоит подождать еще двадцать лет – и даже тогда ты все равно споткнешься.

На что тогда было надеяться четырнадцатилетнему мальчишке, жившему в эпоху и в культуре среди людей, которые не поощряли самопознания или даже не имели об этом представления? В спальне общежития, где спали другие девять мальчиков, выражение непростых чувств – сомнений в себе, нежных надежд, сексуальных тревог – было редкостью. Что же до сексуальных влечений, они всегда прикрывались хвастливыми рассказами и насмешками и жутко смешными или совершенно непристойными шуточками. В любом случае надо было смеяться. За всеми этими нервными откровениями таилось осознание того, что перед ними расстилалось огромное неведомое пространство новых событий. До периода их полового созревания существование этой территории было скрыто и никогда их не тревожило. А теперь сама идея сексуального контакта вставала перед ними точно горный хребет, прекрасный, опасный, неотвратимый. Но все еще очень далекий. Покуда они болтали и хохотали в темноте после того, как в общежитии тушили свет, в воздухе было разлито горячее нетерпение, смехотворное влечение к неведомому. Впереди их ждало и манило исполнение желаний, в чем они не имели ни малейших сомнений, но им-то хотелось прямо сейчас! Но в сельском пансионе для мальчиков их шансы были невелики. Да и откуда им было знать, что *это* такое и что с *этим* делать, если вся имевшаяся у них информация поступала из выдуманных небылиц и шуточек?

Как-то ночью один мальчик в наступившей тишине громко произнес из темноты: «А вдруг ты умрешь, так и не узнав, что это такое?» В спальне все замолкли, обдумывая такую возможность. Потом Роланд подал голос: «Но есть же загробная жизнь». И все захохотали.

Как-то вечером, когда они с друзьями все еще считались в пансионе новенькими, то есть ему было лет одиннадцать или что-то около того, их пригласили в гости в спальню к старшим. Те были всего на год старше, но казались умнее и сильнее и даже внушали опасность, как будто принадлежали к высокоразвитому племени. Эту встречу называли тайным мероприятием. Роланд и другие первогодки не знали, что ждать от той встречи. Двое мальчишек, оба мускулистые здоровяки, молодые да ранние, стояли плечом к плечу в проходе между рядами коек. Вокруг них собралась толпа мальчиков, все в пижамах. Многие забрались на верхние койки и смотрели оттуда. В воздухе пахло потом, словно сырым луком. В общежитии давно уже потушили свет. Ему запомнилось, что темную спальню освещало сияние полной луны за окном. Но, возможно, все было иначе. Оба мальчика сняли пижамные штаны. Роланд до этого никогда еще не видел паховых волос, или взрослый пенис, или эрекцию. По выкрику оба начали яростно мастурбировать, только мелькали их сжатые кулаки. Раздались ободряющие и одобряющие возгласы. Все это было похоже на рев болельщиков во время решающего матча. У зрителей этот дуэт вызвал веселье и восхищение. Многие из мальчиков еще не достигли половой зрелости, чтобы самим участвовать в таком состязании.

Гонка завершилась минуты через две. Победителем считался тот, кто достигал оргазма раньше, или тот, кто выпускал струю дальше, поэтому сразу же возникли разногласия. Участники, похоже, пересекли финишную ленту одновременно. Извергнутые ими на линолеум молочные кляксы вроде бы преодолели одинаковые дистанции. Но будут ли они видны только при лунном свете? Соперников как будто уже не интересовало, кто из них победил. Один из них начал рассказывать неприличную шутку, которую Роланд не стал слушать. На их крики и смех в спальню наконец пришел староста, и всех отправили спать.

Удивило ли Роланда, ужаснуло или позабавило увиденное? Он не пришел ни к какому внятному ответу, у него не оказалось под рукой, говоря словами Конрада, внутреннего колорита, с чем можно было бы сравнить случившееся. Его тогдашнее сознание, ежедневные смены настроения его юной души невозможно было понять с высоты сегодняшнего времени. Он никогда не рефлексировал над своими душевными состояниями. Одно событие немедленно сменяло другое. Классные комнаты, игры, уроки игры на фортепьяно, внеклассные задания, знакомства с новыми друзьями, расставания со старыми, толкотня в коридорах, стояние в очередях, выключение света после отбоя. В пансионе жизнь его души была как у пса, сидящего на цепи перед постоянно подкладываемым лакомством.

Но было одно жизненно важное исключение. Даже в тридцатилетнем возрасте Роланд помнил его во всех подробностях. Его собственный внутренний колорит, его замкнутость сохранялась в бездонной, как океан, раковине мальчишеских мыслей. Когда тихие разговоры в спальне сменились тишиной и на него начал накатывать сон, он уполз в свою потайную раковину. Учительница музыки, которая больше с ним не занималась, сама не знала, что вела двойную жизнь. Была женщина, реальная, мисс Корнелл. Он случайно видел ее, когда оказывался рядом с лазаретом, конюшней или музыкальным корпусом. Она всегда была одна и шла либо от своей красной машинки, либо к ней до или после урока. Он никогда к ней не приближался, он старался этого не делать. Ему очень не хотелось заводить с ней разговор, который мог бы возникнуть, останови она его и начини расспрашивать, как он «поживает». Хуже того, если она сама проходила мимо, не желая с ним заговорить. И еще хуже, если она его просто не узнавала.

А еще была женщина его ночных фантазий, которая делала все, что он ей приказывал, а именно – она лишала его собственной воли и заставляла его делать все, что сама хотела. Внешний колорит – это главным образом то, что остается от детства. Теплым сентябрьским днем, пробыв в пансионе две недели, он с компанией мальчишек пересек на великах полу-

остров, чтобы поплавать в реке Стаур, широкой и в часы прилива полноводной, как Оруэлл, но только куда более чистой. Он ехал за старшими мальчиками по полевой тропинке к пляжу, покрытому засохшей грязной коркой вперемешку с речной галькой. Он заплыл дальше других, демонстрируя навыки мощных гребков, приобретенные во время заплывов с отцом в Триполи. Но уже начался отлив, и течение уносило его прочь от берега к холодному глубоководью. У него свело мышцы ног. Он закричал и замахал руками, и здоровяк по кличке Скала подплыл к нему и отбуксировал обратно к пляжу. Он не выказал ни малейшего страха, унижения, благодарности и радости оттого, что остался в живых. И они вернулись на великах вовремя, чтобы влиться в привычную рутину школьных будней – урок в четыре часа пополудни, потом чай, потом работа над внеклассным заданием.

Периодически возникали чрезвычайные происшествия, моменты печальных проступков, которые бросали на школу мрачную тень коллективной вины. Обычно это было связано с воровством. У кого-то стащили транзисторный приемник или крикетную битку. А однажды с бельевого веревки перед общежитием персонала исчезло сохшее там женское нижнее белье. Всех 350 учеников тогда собрали в актовом зале. Перед ними выступил директор школы, добродушный увалень, с телосложением регбиста, который, как всем было известно, любил называть свою жену Джордж, и объявил ученикам, что, покуда виновный в краже не признается, все будут молча сидеть здесь, даже если им придется пропустить обед. Такие угрозы никогда не срабатывали, особенно в случае с кражей женского белья. Старшеклассники по опыту знали, что на такие линейки стоило приносить книжку или шахматы.

Но не только кражи служили спланивающим фактором для учеников школы. Каждую весну устраивались походы на американскую военно-воздушную базу в Лейкенхите, где проводился день открытых дверей. Там стояли эскадрильи огромных бомбардировщиков «Б-52» с атомными бомбами, предназначенными для сдерживания или уничтожения Советского Союза. Роланд ездил туда с одноклассниками на школьном автобусе. Они час стояли в очереди, чтобы на тридцать секунд залезть в кабину и посидеть в кресле пилота истребителя. В воздухе слышался отдаленный рев летевших бомбардировщиков. Их карманных денег не хватало на жареные ребрышки, стейки и картошку фри с кока-колой в воцонных стаканах размером с цветочный горшок. И они просто смотрели на счастливицов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.